

Виктор Вахштайн

Дело

О ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Социология
в судебных
прецедентах

Центр гуманитарных инициатив
Университетская книга
Москва — Санкт-Петербург
2015

УДК 32.001
ББК 66.0
В22

Streetart Иллюстрация на обложке Александра Галешникова, агентство Streetart, Екатеринбург

NB или Nota Bene — это новая серия популярных текстов известных ученых по актуальным проблемам культуры, политики и общественной жизни.
Составитель серии — профессор Л.Г. Ионин

Вахштайн В.

В22 Дело о повседневности. Социология в судебных прецедентах — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. — 176 с.
ISBN 978-5-98712-???-5

Повседневный мир — это сфера рабочей рутины, разговоров с друзьями и чтения новостей. Социология изучает то, как события повседневности сцепляются друг с другом, образуя естественный социальный порядок. Однако повседневный мир современного человека уже не так стабилен и устойчив, как привыкли думать социологи: возрастающая мобильность, экспансия гаджетов, смешение далекого и близкого, привычного и чуждого, заставляют исследователей искать ответы на пересечении разных миров — повседневности, искусства, техники, науки и права. Чтобы заново поставить вопрос о природе естественного социального порядка, автор «Дела о повседневности» переносит читателей в зал суда, используя в качестве иллюстративного материала судебные прецеденты разных стран и разных эпох.

Виктор Вахштайн — профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук, декан философского факультета РАНХиГС при Президенте РФ, почетный сотрудник Университета Манчестера.

© Вахштайн В., 2015
© Центр гуманитарных инициатив, 2015
© «Университетская книга», 2015

Оглавление

Введение	5
Убийство Эдварда Драммонда и теория множественных миров	9
Философия биткойна	19
«Дело Дон Кихота»	28
Фрейм-анализ и фальсификации на выборах.....	40
«Дело Брауна» и «Дело Бастамонте».....	59
Экстраординарные события vs. Мир повседневности.....	68
Смерть, судьба и бессмертие	88
«Дело о стихийных бедствиях»	102
Два типа подозрения	114
Вместо заключения: «Дело Стоуна»	130
Примечания	136

Введение

Почтенная философская традиция, укорененная в истории идей, учит нас мыслить идеи как «вещи», обладающие собственным весом, функциями и силой инерции. Недавнее теоретическое решение, связанное с именами Б. Латура и Д. Маккензи¹, опирается на образ идеи как «действующего лица» (актанта), наделенного властью, интенцией и способностью вступать в коалиции с другими действующими лицами — людьми и материальными объектами. Таковы крайние точки континуума. Между ними лежит представление об идеях как о шахматных фигурах, сила и ценность которых целиком зависит от их положения на доске. Они действуют: перемещаются, ограничивают возможности других фигур, нейтрализуют, защищают или выводят их из игры. Ими движут великие теоретики, которые, несмотря на свое величие, неспособны произвольным образом менять их *modus operandi*.

Эта книга — исследование одной такой идеи, прошедшей путь от смутной литературной интуиции до мощной философской, социологической и, как ни странно, юридической фигур.

Многим из нас знакомо чувство избирательного сходства между событиями повседневной жизни, сновидения, художественного произведения или грёзы. Мы узнаем одно в другом: знакомого человека — в приснившемся животном, предмет собственных мучительных раздумий — в сюжете книги, воображаемую ситуацию — в ситуации ре-

альной. Отсюда один шаг до представления о мире как о совокупности упорядоченных и некоторым образом связанных друг с другом реальностей, лишь одна из которых — реальность нашей повседневной жизни. Эти миры нельзя однозначно разделить на «субъективные» и «объективные». Насколько «субъективен» мир Дон Кихота? Мир Сервантеса? Мир читателей Сервантеса? Хотя мы можем пытаться упорядочить эти миры по степени их реальности, сегодня известны целые страны, в которых вымышленные события из репортажей СМИ обладают большей действительностью, чем события повседневной рутины граждан. Миры фантастического произведения, театральной постановки, теоретической конструкции, повседневной жизни и сновидения — суть самостоятельные «регионы», более или менее автономные друг от друга.

Эта интуиция закрепились в философии благодаря Уильяму Джеймсу² и получила название «теории множественных миров». Еще раньше этой интуицией руководствовались английские судьи, формулируя известные «Правила Макнотена», о которых будет рассказано далее. (Когда-то именно судебная практика была мерилom философской и социологической теории: конкурирующие способы мышления о социальном мире проходили апробацию не в полевых исследованиях, а в судах. Используя в качестве иллюстративного материала судебные прецеденты разных стран и разных эпох, мы ненадолго вернемся к этой модели обоснования.) На доску социологической теории идею множественных миров поставил создатель феноменологической социологии Альфред Шюц. Там она оказалась в своей стихии и немедленно атаковала привычную социологам теорию социального действия. Дальше по-

следовала серия атак и контратак, хитроумных теоретических комбинаций и маневров. В руках таких гроссмейстеров как Ирвинг Гофман, Людвиг Витгенштейн, Джон Серль, Никлас Луман, Джон Ло эта идея приводила к рождению новых теоретических комбинаций и нейтрализации старых, попутно трансформируясь до неузнаваемости.

Наше исследование — попытка реконструкции сыгранных с ее помощью партий.

Эта книга никогда не была бы написана, если бы не усилия нескольких людей. Я бы хотел отдельно поблагодарить Л.Г. Ионина, чья работа «Социология культуры»³, прочитанная мною на первых курсах провинциального психфака, подтолкнула меня к переходу в лагерь социологической теории. Когда полгода назад Леонид Григорьевич предложил мне сделать перерыв в бесконечной череде исследовательских проектов и изложить на доступном языке интересующие меня проблемы социологии повседневности, я немедленно последовал его совету. (Насколько это удалось — судить читателю.)

Вторая благодарность — В.А. Мау и С.Г. Сильникову. Благодаря научно-исследовательскому проекту РАНХиГС «Метафорические и метонимические стратегии социологического теоретизирования» я сумел вырваться из колеса сбора-обработки-анализа-презентации эмпирических данных и вернуться в библиотеку. Это академическое возвращение осталось бы несбыточной мечтой без дружеской административно-политической поддержки Сергея Зуева и Ирины Ронжиной.

Отдельная благодарность — всем студентам и выпускникам Российско-Британской магистратуры МВШСЭН, участвовавших в «Шанинских

школах» последних лет. Большая часть изложенных здесь идей — результат наших семинаров по аналитическому чтению теоретических текстов. Не имея возможности перечислить всех, поблагодарю только двух самых закаленных бойцов этого невидимого исследовательского фронта: Павла Степанцова и Ксению Ткачеву.

Если бы не проект «Постнаука», предложивший уникальный формат для доступного изложения научных идей, я никогда бы не ступил на скользкую тропу популяризации. Потому отдельная благодарность — Ивару Максutowу и Анне Козыревской.

Наконец, без редакторских усилий замечательного антрополога Дарьи Димке эта книга осталась бы нагромождением фактических, стилистических и грамматических ошибок.

И, конечно, неизменная признательность моему учителю — А.Ф. Филиппову.

Убийство Эдварда Драммонда и теория множественных миров

Днем 20-го января 1843-го года пятидесятилетний государственный служащий покинул апартаменты премьер-министра Великобритании Роберта Пиля в Уайтхолле и направился по Даунинг-стрит в сторону вокзала Чаринг-Кросс. Подошедший к нему сзади неброско одетый мужчина вытащил из кармана однозарядный пистолет и практически в упор выстрелил ему в спину. Констебль лондонской полиции, ставший свидетелем происшедшего, немедленно обезоружил стрелявшего. Жертвой оказался Эдвард Драммонд — личный секретарь премьер-министра; стрелявшим — Даниэль Макнотен, бывший владелец небольшого деревообрабатывающего предприятия в Глазго, за несколько лет до покушения продавший свой бизнес. Как выяснилось впоследствии, Макнотен был одержим манией преследования: ему казалось, что правящая партия консерваторов объявила ему войну, регулярно подсылает шпионов и практически довела его до разорения. Он всего лишь решил нанести упреждающий удар, выстрелить первым. Жертвой должен был стать не Драммонд, а сам премьер-министр Роберт Пиль.

Эдварду Драммонду была оказана помощь, рана не выглядела тяжелой и все лондонские газеты уже писали о его успешном выздоровлении, когда, неожиданно, открылось внутреннее кровотечение. Секретарь Пиля скончался через пять дней после выстрела.

Даниэль Макнотен предстал перед судом, где сообщил о преследованиях со стороны тори. Медицинское заключение диагностировало несомненное психическое расстройство параноидного типа. Обвинение стремилось доказать, что «несмотря на частичное помутнение сознания, обвиняемый все же действовал как сознательный и ответственный субъект, понимал последствия своих действий, а потому должен понести заслуженное наказание». Защитник — известный всему Лондону блестящий юрист Александр Кокберн (которому пэрство мешало получить только королева Виктория, не одобрявшая его чрезмерного увлечения женским полом) — настаивал на том, что подсудимый «не контролировал свои действия, а потому не может нести за них ответственность»⁴. После недолгого совещания присяжные согласились с доводами Кокберна. Даниэль Макнотен был признан невиновным на основании помешательства. Его препроводили в психиатрическую лечебницу, где он и скончался двадцать два года спустя.

Однако история на этом не заканчивается.

Взбудораженная громким происшествием Палата лордов потребовала от специально созданной комиссии судей ответить на несколько «гипотетических вопросов». А именно: сформулировать ряд четких критериев, по которым подсудимый может быть признанным ответственным за свои действия, даже если страдает от помутнения рассудка. Ответы, данные судьями, вошли в историю как «правила Макнотена» и очень быстро из предмета юридического спора стали источником новых литературных, философских, психологических и социологических прозрений.

Мы все отчасти знакомы с «правилами Макнотена» по фильмам, где в ходе судебного заседания представители защиты или обвинения произносят фразу «...он был неспособен отличить добро от зла и не понимал последствий своих действий». Это — второе правило Макнотена. Один из вопросов, заданных лордами, звучал так: «Если человек под влиянием болезненно-бредового восприятия фактов действительности совершает преступление с тяжелыми последствиями, то освобождает ли его это от юридической ответственности?». Судьи ответили на него следующим образом: «...при том же допущении, какое мы сделали раньше, а именно, что спорное лицо обладает лишь частичным, выборочным искажением восприятия, а в других отношениях здраво, мы полагаем, о его ответственности следует судить, разбирая его поступки в такой ситуации, как если бы факты, в отношении которых наблюдается болезненное заблуждение, существовали реально («...he must be considered in the same situation as to responsibility as if the facts with respect to which the delusion exists were real»). Например, если под влиянием заблуждения это лицо полагает, будто на его жизнь покушается другой человек и убивает такого человека, как оно убеждено, в целях самозащиты — убийца может быть освобожден от наказания. Если же его заблуждение состояло в том, что покойный якобы причинил серьезный вред его репутации и благосостоянию, и он убил этого человека в отместку за такой предполагаемый вред, убийца подлежит наказанию»⁵.

Макнотен был оправдан до того, как правила, названные его именем, стали общим местом судебной практики. Оправдан, потому что по утверждению его адвоката «не мог контролировать свои действия». Был бы он оправдан по новым прави-

лам? Конечно, история не знает сослагательного наклонения. Адвокату Кокберну пришлось бы доказывать, что Макнотен — в момент совершения преступления — находился в иллюзорном мире, созданном его болезненным воображением. И в этом воображаемом мире на него велась безжалостная политическая охота, вынудившая его действовать из соображений самозащиты, покушаясь на главный источник опасности. Если бы Макнотен — находясь в таком же точно состоянии — выстрелил в Драммонда, чтобы «передать послание Пилю», его следовало бы осудить на казнь. Поскольку тогда это уже не было бы самозащитой даже в мире безумия. Впрочем, многие современные юристы полагают, что по «правилам Макнотена» Макнотена бы все равно осудили — поскольку в момент совершения преступления непосредственной угрозы его жизни не было даже в мире параноидальных иллюзий.⁶

Правила Макнотена до сих пор остаются уникальным прецедентом и практическим руководством для юристов. Если человек, живущий в мире безумия, полагает себя агентом секретной службы, которому поручено устранить вражеского шпиона, он — за совершенное им убийство — подлежит принудительному лечению. Если же человек, страдающий психическим расстройством, убивает своего соседа из-за того, что у того, якобы, роман с его женой, он должен быть признан виновным в убийстве.

Английские судьи тем самым признали, что мир безумия является миром *suī generis*, «структурно подобным» миру здравого смысла, и его обстоятельства имеют решающее значение для вынесения вердикта.

Но что значит «структурно подобным»? И что имеет решающее значение: структурное подобие миров или их суверенность, независимость друг от друга?

Спустя полстолетия после выстрела на Даунинг-стрит в Гарварде была издана книга Уильяма Джеймса «Принципы психологии» (1890) — работа, которой было суждено изменить весь облик психологии XX века. Двадцать первая глава этой книги называется «Восприятие реальности», вплоть до сегодняшнего дня она известна социологам чуть лучше, чем психологам. В ней Джеймс впервые обосновал тезис о множественности относительно автономных (но подобных друг другу) миров, предложив попутно их первичную классификацию. У Джеймса таких миров насчитывается семь:

«1) Мир ощущений или физических “вещей”, постигаемых инстинктивно и обладающих такими качествами, как теплота, цвет и звук и такими «силами», как жизнь, химическое сродство, тяготение, электричество.

2) Мир науки или физических вещей, постигаемых ученым и лишенных вторичных качеств и “сил” (в общепринятом смысле), в котором реальны только твердые тела, жидкости и “законы” их движения.

3) Мир идеальных связей или абстрактных истин, принимаемых на веру или могущих быть принятыми на веру всеми и выражаемых в форме логических, математических, метафизических, этических или эстетических утверждений.

4) Мир “идолов племени”, иллюзий или предрассудков, общих для определенного народа. Все образованные люди признают их в качестве одной из “под-вселенных”. Например, к этому миру принадлежит вращение неба вокруг земли. Это вращение не признается ни в одном другом мире, но как “идол племени” оно реально существует. Для некоторых философов “материя” существует только как

идол племени. В науке таким “идолом племени” являются “вторичные качества” материи.

5) Различные сверхъестественные миры: христианские рай и ад, мир индуистской мифологии и т.д. Каждый из них является непротиворечивой системой, между частями которой имеются определенные связи. Например, трезубец Нептуна не обладает никакой реальностью в христианском раю, но в пределах классического Олимпа некоторые его свойства истинны, вне зависимости от присутствия или отсутствия веры в реальность классической мифологии в целом. В один ряд с этими мирами религиозной веры можно поставить множество преднамеренно выдуманных миров — мир “Илиады”, мир “Короля Лира”, мир “Записок Пиквикского клуба” и т. п.

6) Различные миры индивидуальных мнений, которых столько же, сколько людей.

7) Миры чистого безумия и помешательства, тоже бесконечно разнообразные.⁷

Эта классификация напоминает знаменитую классификацию животных Х.Л. Борхеса, в которой животные, принадлежащие императору, соседствуют с животными, разбившими цветочную вазу, или нарисованными тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти (в свете этого, любовь Борхеса к философии Джеймса кажется неслучайной).⁸ Однако Джеймс детально анализирует то общее, что свойственно нашему восприятию реальности в каждом из миров: будь то «верховная реальность» мира физических вещей или реальность мира безумия. Главное их свойство — непротиворечивость. Все эти миры — здравого смысла, науки, литературы или безумия — блокируют сомнение в их собственной реальности до тех пор, пока вы находитесь «внутри». Вы не со-

мневаются в реальности стула, на котором сидите. Дон Кихот не сомневается в реальности великанов. Физик не сомневается в реальности атомов. Это не значит, что в атомах, великанах и стульях нельзя усомниться — это лишь значит, что в них нельзя усомниться, пока вы находитесь в их мире (здорового смысла, безумия или физики).

В каком отношении миры находятся друг к другу? Являются ли они «суверенными государствами» со своими собственными законами и лишь им одним присущей внутренней логикой? Могут ли миры пересекаться и накладываться друг на друга? Есть ли среди них «метрополии» и «колонии»?

Все эти вопросы составляют часть «джеймсовской проблемы» (которая возникает лишь тогда, когда мы — вслед за английскими судьями — признаем тезис о множественности миров и их относительном подобии друг другу). Развитие феноменологии в работах Эдмунда Гуссерля⁹ придало «джеймсовской проблеме» особое звучание. Ученик Гуссерля, создатель феноменологической социологии Альфред Шюц, переносит эту проблему в социологию: как устроено наше сосуществование с другими в каждом из миров?

Работа Шюца «О множественности реальностей»¹⁰ — это Ветхий завет социологии повседневности. Прежде всего, потому что для мира повседневности Шюц (вслед за Джеймсом) резервирует особое, привилегированное место. Мир здравого смысла — «верховная реальность». За ним следуют (по степени убывания реальности) воображаемые миры искусства, всевозможных фантазий, игры, научной теории, религиозного переживания и, наконец, сновидения. Каждый мир, по Шюцу, обла-

дает своим «когнитивным стилем»: способом блокировки сомнения в чем-либо, способом действия, способом переживания своего «Я», способом отношения с другими людьми, способом восприятия времени. Скрепляет их все особое «напряжение внимания к жизни» (термин Анри Бергсона¹¹) — оно максимально в мире повседневности и минимально в мире сновидения.

Две главные аксиомы феноменологической социологии таковы:

а) миры замкнуты, переход из одного мира в другой (когда поднимается театральная занавес, когда обрывается сновидение, когда приходит переживание религиозного экстаза и т.п.) сопровождаются «шоком» или «скачком» (этот термин Шюц заимствует у С. Кьеркегора¹²);

б) миры неравноценны — все они являются «колониями» мира повседневности, от которого происходят. Именно этим объясняется их структурное подобие.

Первый тезис у Шюца существеннее второго — миры суверенны. Поэтому шюцевское решение «джеймсовской проблемы» означает буквально следующее: повседневность — это повседневность, игра — это игра, сон — это сон, а безумие — это безумие. Не существует никакой «формулы трансформации» содержаний одного мира в содержания другого, а значит, человека, находящегося в мире безумия, нельзя судить по законам мира здравого смысла. Суверенитет миров важнее их «структурного родства» (на котором акцентировал внимание Джеймс). Впрочем, мы еще не раз вернемся к этому вопросу.

Сегодня «джеймсовская проблема» снова заставляет философов и социологов обращаться за

примерами к судебной практике. Например, к возбуждению дела против создателей масштабного сетевого проекта «Second Life» в июне 2007 г. «Second Life» — одна из самых популярных в прошлом трехмерных онлайн-вселенных. Уже к началу 2008 г. в игре было зарегистрировано более 10 млн. участников. По сути, речь идет о строительстве в виртуальном мире своего рода утопического государства. Но с реальными деньгами — заработанные во «Второй жизни» линден-доллары легко обменять на наличность. (И наоборот, соответственно.) Именно данное обстоятельство позволило ФБР начать уголовное преследование создателей игры за «открытие игорных домов» — поскольку на виртуальной территории «Второй жизни» участники могли потратить свои виртуальные сбережения не только в виртуальных магазинах и виртуальных ресторанах, но и в виртуальных казино.¹³

Признав, что игрок, находясь в воображаемом мире компьютерной игры, должен руководствоваться правилами мира реального (например, «не играть в азартные игры», которые запрещены на большей части территории США), американские власти вернулись к «правилам Макнотена». Их вопрос одновременно напоминает вопросы Палаты лордов к коллегии судей и сюжет фильма «Начало»: если казино находится не в реальном, а в виртуальном мире, остается ли оно при этом игорным домом? Что важнее: то, что это «игра» или то, что это «игра в игре»? Если для нас централен тезис о структурном подобии миров (Джеймс), то казино в «Second life» следует запретить, если более значим тезис об их суверенитете (Шюц) — на мир компьютерной игры не должны распространяться законы США, также как они не распространяются на мир

сна или литературы. Если Шюц неправ, то вслед за иском ФБР к Linden Lab Corp. (создателям «Второй жизни») должен последовать иск возмущенных фанатов саги «Песнь льда и пламени» к писателю Джорджу Мартину за убийство единственного положительного персонажа — Эддарда Старка.

Во избежание неприятностей хозяева иллюзорного мира закрыли все сомнительные заведения (чем нанесли существенный урон экономике своей вселенной). Это, впрочем, не спасло их от обвинений «в создании благоприятных условий для пропаганды терроризма и организации преступных сообществ».

Следующий вопрос: как различить «авторские миры» и «миры нерукотворные»? Сновидение или безумие, предположительно, не являются «авторскими проектами». Тогда как мир «Второй жизни» имеет вполне конкретного творца и создателя — Корпорацию Линден-Лаб. Значит ли это, что между этим миром и миром безумия нет разницы? Для Джеймса и Шюца — при всех их разногласиях — нет. А, следовательно, невозможно установить меру ответственности демиурга (как невозможно установить меру ответственности Б-га за совершаемое людьми).

Чтобы ввести в теоретическую логику фигуру «творца реальности» социологам потребовалось отказать от обеих аксиом Джеймса-Шюца: миры больше не замкнуты и повседневность больше не занимает среди них особого привилегированного места. Такое теоретическое решение (принадлежащее Ирвингу Гофману) отнюдь не просто далось социологической теории. Но прежде, чем мы рассмотрим его следствия, давайте обратимся к совсем свежему прецеденту, который вновь напомнил миру об актуальности джеймсовской проблемы.

Философия биткоина

Всем, кто читал «Криптономикон» Нила Стивенсона¹⁴, знаком сюжет: группа программистов-математиков пытается создать первую в мире криптовалюту (полностью электронные деньги, защищенные самыми современными методами криптографии), сталкиваясь с сопротивлением мировых правительств и крупных бизнес-игроков. Роман был написан в 1999 г., а первая криптовалюта — биткоины — появилась десять лет спустя, в 2009-м, хотя основные принципы ее распространения были изложены за год до этого в манифесте теоретиков электронных денег.

Один из любопытных вопросов: считать ли биткоины разновидностью виртуальной валюты (как полагают в ФБР и Всемирном банке), независимой частной валютой (как полагает министерство финансов ФРГ) или абсолютно новым, уникальным платежным средством (как полагают их создатели)? Само существование такого рода платежных средств заставляет задуматься экономистов, социологов и философов. История с биткоинами встраивается сразу в несколько долгоиграющих теоретических сюжетов.

Первый сюжет: о «платоновском» характере денег. Если деньги представляют собой абсолютно пустую чистую форму, то их главное качество — это их количество. Неважно, выиграны ли они в карты или получены от Джорджа Сороса, лежат ли они на карточке, представляют собой грудку мелочи в свинье-копилке или цифру на мониторе. В конечном итоге, деньги оказываются почти платоновскими сущностями, обитающими в идеальном мире экономиче-

ских отношений (заключенными в платоновскую же пирамиду денежных агрегатов), а все их конкретные проявления — купюры, монеты, расписки и чеки — не более чем знаки, отсылки, метки состояний. Пока за этими метками стояла не только платоновская сущность денег, но и вполне материальный золотой запас, их посюсторонняя реальность была куда более очевидна. С конца 70-х годов мировая система вступила в фазу развитого постмодернизма (чему в немалой степени способствовали действия самого непостмодернистского политика XX века — Шарля де Голля). Ямайская система 1976—1978 гг.¹⁵ «виртуализировала» деньги куда сильнее, чем создатели биткоинов. В 70-е годы прошлого века деньги (как и остальные фундаментальные знаки) утратили свой последний якорь в осязаемом мире, распространение виртуальных и криптовалют — просто еще один шаг в избавлении денег от материальных «якорей» и, соответственно, от избыточного контроля.

Второй сюжет: о «множественных» деньгах. Действительно ли одна и та же сумма, полученная на чай, выигранная в казино или заработанная на росте курса биткоинов, является одной и той же суммой? В платоновском мире — да, одной и той же. Ход в шахматной партии остается тождественен сам себе, независимо от партийной принадлежности игрока или наличия у него Эдипова комплекса. Но мы не живем в платоновском мире. Исследования Вивианы Зелизер¹⁶ показали, что деньги не свободны от шлейфа своего социального происхождения: проститутка жертвует на нужды церкви не из тех денег, которые она зарабатывает ночью, а из тех, которые она получает легально, подрабатывая днем в прачечной. «Грязные» деньги тратятся на развлечения. «Легкие» (например, выигранные) деньги тратят-

ся легче. Наконец, все мы знаем, что деньги с карточки уходят быстрее — просто потому что их «не видно».¹⁷ Человек, заказавший в 2010 г. две пиццы за 10 000 биткоинов (40—50 долл. тогда и около 5 000 000 долл. сейчас), не выбирал между наличествующими пятьюдесятью долларами и возможными пятью миллионами — он выбирал между цифрами на мониторе и пищей «с луком, сосисками, грибами, помидорами, но без всяких нелепых вещей вроде рыбной верхушки».¹⁸ Поэтому он и переплатил даже по курсу 2010-го: вряд ли бы он согласился отдать за две пиццы пятьдесят баксов наличностью.

Третий сюжет — «зиммелевская проблема» — в каком-то смысле представляет собой сиквел первых двух сюжетов. Говоря о множественных деньгах, социологи имеют в виду именно социальную множественность:

- «деньги по-разному обозначаются в зависимости от источников их получения;
- деньги разнятся в зависимости от того, кем они используются;
- деньги различаются в зависимости от своего целевого предназначения»¹⁹.

Однако различаются ли они по своей материальной форме? Иными словами, представляют ли собой купюры «другие» деньги, нежели монеты? Экономсоциологи не на жизнь, а на смерть бьются с экономистами-платониками, но с подозрением относятся к такой неожиданной союзнице как социология вещей. Одно дело доказать, что деньги — это не чисто экономический феномен, а социальный конструкт, и что социальное происхождение радикально отличается фунтов, выигранных аристократом на скачках, от ста фунтов, заработанных чернорабочим за месяц. И совсем другое — доказывать, что деньги — совокуп-

ность объектов с разным онтологическим статусом. Следовательно, сто фунтов одной бумажкой — не то же самое, что сто фунтов в монетах по пенни и, тем более, не то же самое, что сто фунтов в «Мастер-Банке». Мы еще можем признать, что ход шахматиста — это не чистый «платонический» шахматный ход, сделанный в трансцендентном мире стратегии и тактики, что в нем всегда (в виде «осадка» или даже в качестве основного содержания) присутствует политическая принадлежность игрока и его социальное происхождение. Но допустить, что один и тот же ход, сделанный на деревянной доске, в компьютерной программе или по телефону — это на самом деле разные ходы? Что материальность означающего определяет специфику означаемого? Экономсоциологи разделяют со своими оппонентами общую установку: материальность денежного «носителя» — не самое релевантное свойство для анализа.

Любопытное опровержение этого тезиса можно найти в классической работе Георга Зиммеля «Философия денег».²⁰ Введение в Европе мелкой монеты необратимо сказалось на характере европейского человека — появился Человек Калькулирующий. До тех пор, пока в ходу были только золотые и серебряные монеты (а повседневные транзакции оставались преимущественно бартерными), деньги не могли стать чистой формой — они были «небезразличны» к тому, кто и что на них покупал. Заработав за год золотой, крестьянин шел на ярмарку и обменивал его на лошадь. Монета «коррелировала» с его системой приоритетов и с характером его труда, допуская только крупные, экзистенциально значимые покупки. Появление мелочи радикально изменило характер обмена и накопления — деньги эволюционировали в направлении «чистой формы рациональности, неза-

висящей от содержания». (Любопытно, что две другие чистые формы, которые Зиммель считает родственными деньгам: проституция и интеллект). Для Зиммеля очевиден тот факт, что материальная форма денег имеет значение и последствия. Их все большая виртуализация — часть процесса становления нового (пост-рационального?) человека. Распространение криптовалюты — которая «отвязана» не только от характера покупателя, продавца или товара, но и от характера государств или банков-эмитентов, просто потому что биткойны эмитируются самими «игроками» без государственного, банковского или корпоративного контроля — может стать последним этапом описанной Зиммелем эволюции.

От Карла Маркса и современных экономистов мы знаем, что материальная форма денег утрачивает свое значение по мере развития денежных отношений. Их эволюция — это движение от материальных объектов к абстрактным цифрам. «Деньги — произвольный знак, который изобретается и замещает другие знаки,— пишет психолог Серж Московичи. — Никакая иерархия не определяет их отношений, и в зависимости от обстоятельств употребляют бумажные деньги, векселя, чеки, кредитные карточки, магнитную ленту. Будь то банкноты или счета, ни их название не имеет значения, ни то, из чего они сделаны».²¹ Однако повседневные действия сцеплены друг с другом и опосредованы материальными объектами. На улице европейского города вы покупаете новый кошелек. Он слишком «квадратный» (под евро) и не помещается в предназначенный для него карман. Вы кладете его в другое место и каждый раз вздрагиваете, не находя его там, где привыкли. В другой стране вы быстро обнаруживаете, что карманы стремительно наполняются мелочью. Потому что, расплачиваясь, вы протягиваете банкноту чуть большего

номинала, чем надо — на всякий случай. И сдача все чаще приходит к вам в виде тяжелых железных дисков.

Материальность денег перестает интересовать исследователя, только если он смотрит на них как экономист, свысока. Но для социолога повседневности такое абстрактное понятие — непозволительная роскошь. Потому что бумажные купюры, железные монеты и пластиковые карточки форматируют наши коммуникации. Повседневность регулярно напоминает нам: деньги материальны. Поэтому мелочь оттягивает карман и звякает при ходьбе. «Избавляться от мелочи» становится новым видом спорта. И попробуйте как-нибудь дать официанту на чай горсть 50-копеечных монет. Даже если горсть будет очень большой, именно форма денег переведет коммуникацию из формата «чаевые» в формат «милостыня».

Забавно, что в последние годы возникают новые технологические средства, главная задача которых — вновь сделать деньги материальными, видимыми и осязаемыми. Например, специалисты из MIT Media Lab разработали кошелек, который точно знает, сколько денег на вашем счету в банке.²² В конце месяца, когда расходуемая сумма стремительно убывает, кошелек уже не просто вибрирует при каждой транзакции — его становится физически трудно открыть. Он всячески сопротивляется вашим попыткам вытащить из него карточку.

Так, неожиданно, эволюция технической инфраструктуры, обеспечивающей наше взаимодействие с собственными деньгами, описывает петлю. Представьте, что вы живете в мире без банков, ссудных контор и векселей, а весь ваш капитал — несколько золотых монет. Вам нужно переехать из одного города в другой. Банков в нашем воображаемом мире еще нет; деньги лежат в кошельке на поясе и, останавливаясь на ночь

на постоянном дворе, вы пересчитываете их перед сном. Вы точно знаете, сколько у вас денег, точно знаете, где они, ощущаете их вес, можете их тратить, но не можете поручиться за их безопасность. Это то, что в социологии техники называется прочной «сцепкой» (entanglement).²³ Пропустим несколько этапов развития банковской системы и сразу перейдем к пластиковым карточкам — гениальной технологии «расцепления» (disentanglement), кстати, впервые описанной в утопическом романе Эдварда Беллами.²⁴ Деньги, предположительно, в безопасности (если вы доверяете банкам), но уже никто точно не может сказать, «где» именно они находятся. Чтобы «пересчитать» их, вам понадобится еще ряд посредников — банкомат, отделение банка или телефон с подключенной услугой SMS-банкинга. Это слабая «сцепка». Благодаря «расцеплению» между вами и вашими деньгами выстраивается длинная цепочка технических посредников: от пластиковой карты до телефона. Деньги с карточки уходят гораздо быстрее, вы не чувствуете их материальности. Деньги больше ничего не весят. (А то, что весит — набивающаяся в карманы мелочь — перестает восприниматься как деньги.) И вот появляется кошелек MIT Media Lab. Задача разработчиков: не потеряв достижений цивилизации (прежде всего, безопасности), вернуть прочную средневековую «сцепку», а вместе с ней — материальность и вес денег.

Наконец, четвертый сюжет: коммуникативные миры и проблема конвертируемости. Еще до того, как немецкий социолог Никлас Луман выразил этот тезис в предельно ясной, почти кибернетической форме, социологи догадывались, что деньги есть обобщенное средство коммуникации. Классик нашей дисциплины Талкотт Парсонс выделял в числе подобных генерализованных посредников также власть и

ценностные обязательства, Луман прибавил к ним истину для систем науки и любовь для интимных отношений.²⁵ Коммуникация же всегда определенным образом фреймирована (об этом мы поговорим далее): существуют разные коммуникативные миры. Соответственно, в каждом из таких коммуникативных миров — свои деньги. Это можно понимать метафорически (как Луман): «власть — деньги мира политики, истина — деньги мира науки», а можно и буквально.

Например, в виртуальном мире «World of Warcraft» есть свои деньги для покупки оружия и иных полезных в хозяйстве атрибутов; при этом они могут обмениваться по определенному курсу на деньги не виртуального мира. Игровые чаты полны слухов о целых индийских кибер-плантациях, на которых сотни подневольных игроков сутками прокачивают персонажей, чтобы потом продать их американским геймерам. Уже вполне солидные издания предупреждают правительства о том, что через виртуальные миры «WoW» и «Second Life» бесконтрольно перекачиваются миллионы долларов преступных корпораций. Станным образом именно конвертируемость игровых денег в неигровые всегда служила конечным аргументом при ответе на вопрос об онтологическом статусе и реальности того или иного «небуквального мира» (non-literal realm). Например, деньги из «Монополии» не входят в число свободно конвертируемых валют. Напротив, деньги из игры «Second Life» (линден-доллары) конвертируются во все основные валюты по определенному курсу.

Но что если игровые деньги начинают не просто конвертироваться, а приниматься к оплате в повседневных сделках, признаваться перспективным средством накопления и сбережения? Что если бы вы могли заплатить по счету в ресторане деньгами, добытыми в боях «World of Warcraft»? (Для фанатов крип-

товалюты аналогия абсолютно неуместная, однако вполне оправданная, пока биткоины проходят по ведомству «виртуальных денег».) Наконец, что если в вашем университете не просто откроют новую магистерскую программу «Цифровая валюта», но начнут принимать плату за обучение в биткоинах?²⁶ Это уже не просто признание особой реальности *sui generis* за коммуникативными мирами, которые раньше были реальны только для своих самых увлеченных фанатов. Это уравнивание в правах и стирание границы между «настоящими» и «ненастоящим» мирами.

Четыре описанных выше сюжета появились в социальной теории задолго до рождения виртуальных и цифровых валют, однако недавний «биткоинный прецедент» позволил взглянуть по-новому на избитые философские вопросы о материальности, реальности, трансцендентности и обратимости. Это не значит, что эмансипация криптовалют (до которой пока еще очень далеко) не ставит новых теоретических проблем. Мы намеренно оставили за скобками все, что интересует в биткоинах их сторонников и противников — вопросы надежности кода, государственного контроля и суверенитета, соотношения рисков и свобод.

В конечном итоге, героям Нила Стивенсона все же потребовалось для создания криптовалюты подобрать ей надежные «посюсторонние» основания в виде суверенного «информационного рая» на вымышленном острове в Тихом океане и мощного золотого запаса (за последнее, кстати, Стивенсон был раскритикован своими же фанатами — кибер-анархистами). Видимо, распространение «анархистских денег» — валют без эмитента — рано или поздно упирается в вопрос о суверенитете; причем, не только суверенитете государств, но и суверенитете виртуальных миров.

Однако вернемся к социологической теории.

«Дело Дон Кихота»

Пример с виртуальными валютами иллюстрирует важный тезис социологии повседневности: больше нет «денег вообще», «вещей вообще» и «действий вообще» — каждый объект, действие или событие должны рассматриваться в контексте того мира, которому они принадлежат. «Обыденный ум, — замечает Уильям Джеймс, — считает все эти подмиры более-менее разрозненными и, имея дело с одним из них, забывает на время о связях с остальными. Истинный философ пытается не только отвести каждому объекту своей мысли надлежащее место в одном из этих подмиров, но и определить связь каждого из подмиров с другими подмирами <...>». ²⁷ Будучи примененным к теории денег, этот тезис бросает вызов «платонистской» экономике — деньги суть не идеальные сущности, обитающие в горнем мире финансовых агрегатов, а конкретные материальные и нематериальные объекты, привязанные к подмирам с принципиально различной смысловой организацией. Но когда мы переносим этот тезис в сферу человеческих действий, по ту сторону баррикад оказывается уже не только юридическая практика (одержимая одновременно поиском мотива и установлением объективных обстоятельств совершения преступления), но и классическая социологическая теория.

Почему?

На протяжении всей истории нашей дисциплины теория действия находилась на фронтире социологической мысли. Именно здесь выковывались интуиции, которые потом ложились в основу конкретных

исследований. Поэтому определение социального действия долгое время оставалось центральным элементом в формуле предмета социологии. С подачи Макса Вебера социологию интересует действие, понимаемое как «...деяние, недеяние или претерпевание, все равно внутреннее или внешнее, если действующий соотносит с ним субъективно полагаемый смысл».²⁸ Социальным же оно становится в том случае, если по своему субъективно полагаемому смыслу ориентировано на другого человека и его действия.

В этой простой формуле есть одна подсказка и одна ловушка.

Подсказка содержится в упоре на «смысл». А ловушка — в предикате «субъективно полагаемый». Макс Вебер, как и добрая половина классиков немецкой социологии, находится под влиянием Баденской школы неокантианства. «Баденцы» же незадолго до появления социологии как науки сумели провести тонкий философский маневр, нацеленный против картезианского дуализма.

Если, согласно Декарту, все вещи делятся на протяженные (*res exstensa*) и мыслимые (*res cogitans*), то и изучение их возможно либо в модусе физики, либо в модусе психологии. Социологии просто не остается места. Неокантианцы Баденской школы расчищают пространство для социологов, «снимая» картезианский дуализм нетривиальным стратегическим ходом: да, есть вещи в пространстве и вещи в психике — но и те, и другие суть *вещи*, они *существуют*, т.е. принадлежат миру бытия. Про них всегда можно сказать «есть / нет». За гранью же мира бытия находится мир ценностей и связывающее два мира пограничное «царство смыслов». Это и есть подлинная реальность предмета социологического познания. Социология намеренно отказывается от изучения «вещей *per se*»

и «поведения *per se*», ограничив предмет своего исследования их социальными смыслами. Про смысл (как и про ценность) нельзя сказать, что он «есть или нет». Смысл — не существует, он *значит*. Поэтому социолог должен решительно отвернуться от мира бытия, мира мыслимых и осязаемых вещей (равно как и от мира наблюдаемого человеческого поведения); его дело понять, что эти вещи значат. Данное различие лежит в основании Великого Раскола между «науками о бытии» и «науками о значении».

Здесь, собственно, и возникает веберовская модель социального действия. Действующий выходит за пределы своего наличного бытия, обращается к миру ценностей, находит смысл и воплощает его в конкретном действии. Т.е. само действие — это отражение некоторой ценности «в тусклом и кривом зеркале бытия». Поэтому крестьянин не совершает поступательных движений тяпкой (практический модус), а спасает свою душу в богоугодном труде (ценностный модус), равно как и ученый, предположительно, не максимизирует свой капитал, а ищет истину.²⁹ Подобный выход из мира бытия называется *трансцендентией* и легче всего распознается в ценностно-рациональных действиях, а предельный ее случай выражен в пограничных переживаниях. Таких, например, как переживание князя Андрея Болконского на поле под Аустерлицем.³⁰ (Это сравнение не будет выглядеть притянутым за уши, если вспомнить, что М. Вебер был почитателем таланта Л. Толстого.)

Смысл — категория, позволившая Веберу в первой части своего исследования протестантской этики и духа капитализма различить собственно капиталистическое усилие по максимизации прибыли и «*auri sacra fames*» — презренную страсть к наживе.³¹ В наблюдаемом поведении две эти интенции совпада-

ют: крестьянин-протестант, сутками работающий на пашне и полагающий сверхурочный заработок богоугодным делом, *на практике* мало чем отличается от просто алчного крестьянина, стремящегося заработать больше в период сбора урожая — различие их действий не в практиках, а в модусе осмысленности. Именно поэтому веберовское исследование фокусируется не на имманентных аспектах капитализма и протестантизма (собственно хозяйственных или религиозных практиках), а на смысловом и ценностном компонентах — «духе» и «этике».

Итак, есть мир бытия (сюда попадают все декартовы «вещи»: как протяженные, так и мыслимые), есть мир ценностей (он трансцендентен как вечное небо над полем под Аустерлицем) и есть пограничное, связывающее их царство смыслов. Смысл, по выражению другого «баденца» Генриха Риккерта, есть нечто «независимо противостоящее этому миру». Вебер стоит на тех же позициях: смысл примера на вычитание не содержится в бумаге, на которой этот пример написан (равно как не содержится он и в «психике» решающего его ученика). И психическое, и материальное остаются в мире бытия, тогда как социальное принадлежит царству смыслов, которое данному миру независимо противопоставлено. Когда мальчик решает пример на вычитание, мы должны понять смысл его действия, а не его, мальчика, психическую организацию или физические обстоятельства практики решения примера. Поэтому смысл не психичен и не физичен, он не субъективен и не объективен. Он полагается субъектом, но находится по ту сторону этих разграничений. А, следовательно, нет людей и их действий, есть действия и их люди.

Каноническим же для теории действия стал веберовский пример с действиями велосипедистов:

«Случайное столкновение велосипедистов мы не назовем общностно ориентированными действиями, но их предшествующие попытки избежать инцидента, а также их возможную “потасовку” или попытку прийти к мирному “соглашению”, мы уже относим к действиям упомянутого типа». ³² Физические велосипеды и психические представления остаются в декартовом мире бытия. Социолог же должен спросить: как происходило последующее (или предшествующее) полагание смысла этого столкновения. ³³

Но как быть с джеймсовской «верховной реальностью» мира физических объектов и ощущений? По Веберу, ее следует вернуть психологам, а верховной признать реальность субъективно полагаемых смыслов. Что тогда произойдет с миром повседневных рутинных непроблематичных действий? Ничего. Он просто останется за скобками нашего рассмотрения. Вебер неслучайно называет мир повседневности «выхолощенным» — в рутине нет смысла, нет связи с ценностями, а значит — не может быть смысловой ориентации на другого. Кроме того, рутинное действие не «совершается рефлексивно при ясном свете сознания» и потому вообще не является действием.

Веберовское понимание действия предельно «юридично» (не случайно сам он — выдающийся теоретик и историк права). Действие — это что-то, за что можно вменить ответственность действующему.

Но давайте зададим Веберу вопрос: как быть с действием игрока в регби, который проводит удачный обходной маневр? У него, конечно, есть субъективно полагаемый смысл — победа своей команды. Но это не смысл каждой отдельной операции на поле. Решения принимаются спонтанно и зачастую нерефлексивно. У игрока просто нет возможности выйти из мира игры и трансцендировать к миру

ценностей, поле для игры в регби — не поле под Аустерлицем. Как описывает опыт игры Пьер Бурдые (кстати, игравший в регби за свою университетскую команду): для игрока мир есть единство настоящего и настоящего.³⁴ Далее, как быть с правилами? Игрок действует не в чистом поле, его действия упорядочены определенным набором конвенциональных смыслов, которые не являются в полном смысле слова субъективно полагаемыми. Затем, что делать с материальными объектами, без которых сама игра была бы невозможна? Означает ли это, что сфокусировавшись на субъективно полагаемом смысле действия, мы должны полностью вынести их за скобки? И, наконец, как соотносятся действия в игре и действия за ее пределами? Должны ли мы проигнорировать гомологию и избирательное сродство игровых и неигровых действий на том основании, что у них разные субъективно полагаемые смыслы?

Альфреду Шюцу этих вопросов достаточно, чтобы обвинить Вебера в «недостаточной философской изощренности» (и этот упрек, брошенный банковским юристом и социологом-самоучкой главному наследнику Баденского неокантианства в социальной теории, вошел в историю нашей науки как пример беспрецедентной дерзости). Шюц сперва удаляет из веберовской теории действия неокантианское понимание смысла и заменяет его феноменологическим, затем — переопределяет веберовскую идею трансценденции, и, наконец, вводит в игру описанную в начале этой книги джеймсовскую теорию множественных миров.³⁵

Так появляется «загадка о Дон Кихоте».

Напомним, обстоятельства преступления Дон Кихота таковы:

«...Тут глазам их открылось не то тридцать, не то сорок ветряных мельниц, стоявших среди поля, и как скоро увидел их Дон Кихот, то обратился к своему оруженосцу с такими словами:

— Судьба руководит нами как нельзя лучше. Посмотри, друг Санчо Панса: вон там виднеются тридцать, если не больше, чудовищных великанов, — я намерен вступить с ними в бой и перебить их всех до единого, трофеи же, которые нам достанутся, явятся основой нашего благосостояния. Это война справедливая: стереть дурное семя с лица земли — значит верой и правдой послужить богу.

— Где вы видите великанов? — спросил Санчо Панса.

— Да вон они, с громадными руками, — отвечал его господин. — У некоторых из них длина рук достигает почти двух миль.

— Помилуйте, сеньор, — возразил Санчо, — то, что там виднеется, вовсе не великаны, а ветряные мельницы; то же, что вы принимаете за их руки, — это крылья: они кружатся от ветра и приводят в движение мельничные жернова.

— Сейчас видно неопытного искателя приключений, — заметил Дон Кихот, — это великаны. И если ты боишься, то отъезжай в сторону и помолись, а я тем временем вступлю с ними в жестокий и неравный бой.

С последним словом, не внемля голосу Санчо, который предупреждал его, что не с великанами едет он сражаться, а, вне всякого сомнения, с ветряными мельницами, Дон Кихот дал Росинанту шпоры. Он был совершенно уверен, что это великаны, а потому, не обращая внимания на крики оруженосца и не видя, что перед ним, хотя находился совсем близко от мельниц, громко восклицал:

— Стойте, трусливые и подлые твари! Ведь на вас нападает только один рыцарь.

В это время подул легкий ветерок, и, заметив, что огромные крылья мельниц начинают кружиться, Дон Кихот воскликнул:

— Машите, машите руками! Если б у вас их было больше, чем у великана Бриарея, и тогда пришлось бы вам поплатиться!

Сказавши это, он всецело отдался под покровительство госпожи своей Дульсинеи, обратился к ней с мольбою помочь ему выдержать столь тяжкое испытание и, заградившись щитом и пустив Росинанта в галоп, вонзил копьё в крыло ближайшей мельницы; но в это время ветер с такой бешеной силой повернул крыло, что от копья остались одни щепки, а крыло, подхватив и коня и всадника, оказавшегося в весьма жалком положении, сбросило Дон Кихота на землю. На помощь ему во весь ослиный мах поскакал Санчо Панса и, приблизившись, удостоверился, что господин его не может, пошевелиться — так тяжело упал он с Росинанта.

— Ах ты, господи! — воскликнул Санчо. — Не говорил ли я вашей милости, чтобы вы были осторожнее, что это всего-навсего ветряные мельницы? Их никто бы не спутал, разве тот, у кого ветряные мельницы кружатся в голове.

— Помолчи, друг Санчо, — сказал Дон Кихот. — Должно заметить, что нет ничего изменчивее военных обстоятельств. К тому же, я полагаю, и не без основания, что мудрый Фрестон, тот самый, который похитил у меня книги вместе с помещением, превратил великанов в ветряные мельницы, дабы лишить меня плодов победы, — так он меня ненавидит. Но рано или поздно злые его чары не устоят пред силою моего меча».³⁶

Совершает ли Дон Кихот социальное действие в веберовском смысле слова? Да. Есть субъективно полагаемый смысл и стоящая за ним ценность. Есть ориентация на Другого (причем, и на великанов, и на Дульсинею). Но если предположить, что ущерб мельнице был нанесен, то ответственен ли за него Дон Кихот? Ведь мельницы существуют не в том же мире, что воображаемая Дульсинея (имеющая, конечно, «реальный» прототип) и не менее воображаемые великаны?

Ясно, что предписывают в случае Дон Кихота «правила Макнотена». Необходимо принять во внимание обстоятельства его нападения на воображаемых великанов при вынесении решения о причинении ущерба реальным мельницам. Но Шюц использует более тонкий аргумент, заимствованный у Гуссерля, который «...различает предикации существования (Existenzialprädikationen) и предикации реальности (Wirklichkeitsprädikationen). Противоположностью первых являются предикации несуществования, последних — предикации нереальности, вымысла. Исследуя “происхождение” предикаций реальности Гуссерль заключает: “При естественной установке сначала (до рефлексии) нет предиката ‘реальный’ и нет категории ‘реальность’. Только когда мы фантазируем и переходим от установки жизни в фантазии (то есть установки квази-переживания во всех его формах) к данной действительности, и когда мы, таким образом, выходим за пределы любого случайного фантазирования и его фантазии, принимая и то и другое за образцы возможного фантазирования как такового и вымысла как такового, мы получаем, с одной стороны, понятие вымысла (соответственно, фантазирования) и, с другой стороны, понятия ‘возможный опыт как

таковой' и 'реальность'... Мы не можем сказать, что тот, кто фантазирует и живет в мире фантазий ('мечтатель'), принимает вымыслы как вымыслы, но он имеет видоизмененную действительность, 'действительность как если бы'... Только он, живущий опытом и уходящий от него в мир фантазий, может, при условии, что фантазия отличается от опыта, обладать понятиями вымысла и реальности»³⁷.

Итак, вместо неокантианской формулы «мир бытия — мир смыслов — мир ценностей» мы получаем два различия: «существующее / несуществующее» и «реальное / нереальное». В мире воображения мы наделяем реальностью то, что не существует. Этот тезис не отменяет существование мельниц. Он лишь разводит два этих различия, делает их независимыми друг от друга. Есть только один мир, где Существующее и Реальное совпадают — мир повседневности (та самая джеймсовская «верховная реальность», которую Шюц называет миром естественной установки или миром рабочих операций). Во всех остальных мирах — галлюцинаций, литературы, научной теории — реальным становится несуществующее.

Игрок в регби, как и Дон Кихот, не находится в мире «верховой реальности». Он действительно совершает некоторые «рабочие операции» — пробежки, уклонения и пасы — но они не суть его действия. Действия же он совершает в мире воображаемых (игровых) сущностей. Но разве при этом не происходит пробой диэлектрика, нарушение границы миров? Разве Дон Кихот не преобразует мир существующих физических объектов, сражаясь с реальными, хотя и не существующими великанами? «Ответ состоит в том, — замечает Шюц, — что Дон Кихот, действуя описанным способом, не по-

кушается на границы мира рабочих операций. Для него — фантазера, сталкивающегося с реальностью (тогда как Уленшпигель — реалист, сталкивающийся в фантазиями), — не существует воображаемых великанов в реальности его мира рабочих операций, великаны реальны. Впоследствии он признаёт, что его интерпретация находящегося перед ним объекта была опровергнута дальнейшими событиями. Это то же самое переживание, которое возникает у всех нас при естественной установке, когда мы открываем, что нечто далекое, считавшееся нами деревом, оказывается человеком. Но Дон Кихот реагирует совсем иначе, чем реагируем мы в подобных ситуациях. Он не смиряется с “распадом своего опыта”, он не признает своих заблуждений и не соглашается с тем, что предметы, на которые он напал, всегда были мельницами и никогда — великанами. Конечно, он вынужден признать актуальную реальность мельниц, на сопротивление которой он натолкнулся, но он интерпретирует этот факт так, как если бы он не принадлежал реальному миру. Он объясняет его при помощи теории, состоящей в том, что, желая досадить ему, его заклятый враг, волшебник, должно быть в последний момент превратил не менее реальных прежде великанов в мельницы. И только теперь, придя к этому заключению, Дон Кихот определенно снимает акцент реальности с мира рабочих операций и переносит этот акцент на мир своих образов воображения».³⁸

Радикализируя шюцевский тезис, можно было бы сказать: Дон Кихот *действительно* сражался с великанами, поскольку они составляли необходимую предпосылку его *действия*. Хотя Дон Кихот и «невменяем» в веберовском смысле — ему нельзя вменить ответственность за порчу мельниц, по-

сколько никаких мельниц в его мире *не было*. Сам предикат «быть» в повседневном языке (но не в языке философов) куда больше связан с гуссерлевскими «предикациями реальности», чем с «предикациями существования». Теперь становится понятно то раздражение, которое испытывает теория социального действия от вторжения на ее территорию концепции множественных миров. Само действие ускользает, растворяется в своих контекстах, подмирах, «конечных областях смысла».

При этом Шюц отказывается отвечать на два очень важных вопроса:

1) В каком отношении находятся действие в мире воображения (или игры) и действие в мире повседневности? Существует ли механизм преобразования одного в другое? Для Шюца, видимо, — нет, не существует, потому что нет «формулы трансформации», перевода, контрабанды содержаний одного мира в другой. Но тогда значит ли это, что между действием Дон Кихота и действием средневекового рыцаря, бросающегося на превосходящего числом врага, нет никакой гомологии? И мы должны полностью проигнорировать их «родство»?

2) Существуют ли действия, не только выходящие за рамки, но разрушающие некоторые «конечные области смыслов»? Такие экстраординарные события, которые несут угрозу отдельным мирам? То есть не просто заставляют снять с них «акцент реальности» (как мы видели на примере с Дон Кихотом), но делают их невозможными?

Далее мы рассмотрим эти два вопроса на конкретных примерах.

Фрейм-анализ и фальсификации на выборах

Допустим теперь, что Шюц неправ: конечные области смысла не замкнуты и граница между мирами — пунктирная, а не сплошная линия. Допустим также, что Джеймс ошибся, и нет никакой «верховой реальности» — различные смысловые порядки равноценны и равнозначны, их соотношение больше напоминает карту, нежели пирамиду. Что это изменит в нашем понимании повседневности? Прежде всего, теперь задачей социолога повседневности будет поиск и идентификация различных механизмов транспозиции, перевода, сообщения между мирами. Именно такой шаг делает другой социальный теоретик — Ирвинг Гофман.³⁹

Когда Гофману исполнилось девятнадцать лет, он сбежал из дома и устроился на работу в Канадский национальный кинокомитет. Шла Вторая мировая война и молодого стажера подключили к производству рекламных роликов (их тогда демонстрировали в кинотеатрах перед показом фильма). В рекламе не было панорамных сцен и дорогих декораций, зато в кадре всегда присутствовали предметы потребления и повседневного обихода. Вернее, предметы, *имитирующие* предметы потребления и повседневного обихода. Например, чтобы кружка с пивом на киноэкране выглядела как кружка с пивом, в нее следует налить не пиво, а глицерин, щедро добавив взбитой пены для бритья. Если же в нее налить «реальное» пиво — кадр получится «неубедительным»: при переходе от одного порядка реальности (повседневный мир) к другому (мир кинематографа) граница убедительного / неубедительного смещает-

ся. А потому кружка с глицерином — это «как бы» кружка с пивом, ее иконический знак, визуальная репрезентация, которая не может быть заменена самим референтом. (По справедливому замечанию В.Э. Мейерхольда, нарисованный на полотне портрет не станет убедительнее, если вырезать из него нос и заставить позирующего художнику человека просунуть собственный нос в образовавшееся отверстие.) Тогда Гофман впервые задумался о специфике перевода «существующего» в «воображаемое» (и наоборот). В разработанной им теории фреймов он назвал этот перевод *транспонированием*.

Всем, кто в детстве страдал на уроках сольфеджио в музыкальной школе, так же как автор этих строк, хорошо знаком данный термин. Он означает механизм переноса музыкальной фразы из одной тональности в другую. У Гофмана же он описывает способ реинтерпретации, преобразования, трансляции некоторой деятельности, уже имеющей смысл в мире повседневности («если нет исходной схемы, то нечего переключать»); ее перевод в другую систему координат.⁴⁰

То, что Шюц называет конечными областями смысла, а Джеймс — подмирами (или субуниверсумами) у Гофмана становится *системами фреймов*. Этим термином описывается одновременно и «матрица возможных событий», и «схема их интерпретации». То есть фреймы — суть и структуры мира, и структуры его восприятия. Мир повседневности Гофман связывает с первичными или базовыми системами фреймов. Казалось бы, это и есть подлинная реальность, аналогичная «миру рабочих операций» у Шюца. (Как мы увидим далее, дело обстоит несколько сложнее.)

При всей их значимости первичные системы фреймов, вроде бы составляющие фундамент мира

повседневности, не находятся в центре внимания И. Гофмана. Его гораздо больше занимают возможности трансформации, преобразования «настоящей, живой деятельности» в нечто пародийное, поддельное, «ненастоящее».

«Ключами» подобной трансформации (транспонирования) могут стать:

- *выдумка* — имитация непревращенной деятельности в игровых целях;
- *состязания*, в которых драка становится боксом, а погоня — бегом;
- *церемониалы* — символические преобразования повседневности;
- *техническая переналадка* — моделирование деятельности в учебных целях, демонстрация «работы» какого-то устройства на глазах потенциального покупателя, воспроизведение фрагмента непревращенной деятельности в экспериментальных условиях;
- *пересадка* — трансформация мотивов привычной деятельности.⁴¹

Одно из любопытных наблюдений Гофмана состоит в следующем: *наибольшим «потенциалом переключаемости» обладает деятельность, сама явившаяся результатом переключения.* Так, спортивным состязанием скорее станет бег или бокс (трансформация «погоны» и «драки»), нежели мытье посуды. В компьютерной игре с большей вероятностью будет смоделирована гонка «Формулы-1» или битва из «Звездных войн», а не переход улицы на зеленый сигнал светофора. В студенческих капустниках чаще обыгрываются ритуализованные элементы учебы (общение с преподавателем на экзамене) и значимая атрибутика (зачетная книжка, диплом), нежели обыденное содержание студенческой жизни (конспектирование лекций).

Скажем, церемония свадьбы представляет собой ритуал, в котором, как и во многих обрядах перехода, сконцентрирована метафорика изменения статуса вступающих в брак, отношений их родителей, их собственных отношений и т.д. Фразы, движения, перемещения в пространстве — все это подчинено некоторому сценарию и представляет собой превращенную деятельность, отображающую подлинную реальность (предположительно — реальность эпизодов их прежней и будущей повседневной жизни, а также некоторые космогонические представления о связи института брака с вселенским мироустройством). Однако включение церемонии свадьбы в театральную постановку добавит еще один слой (*lamination*) к уже свершившейся трансформации. Репетиция подобного спектакля усложнит структуру фрейма, добавив к нему слой технической переналадки — жених уже не просто старается максимально соответствовать образу «молодого» (первый слой) и делает это свое стремление явным для публики (второй слой); он, к тому же, периодически практикуется «для себя», в порядке тренировки (третий слой). Четвертый слой может добавиться, если на репетицию приедет съемочная группа местного телеканала и «жениху» придется изображать то, как он готовится изображать жениха. Или, если актер, играющий жениха, поспорит с коллегами, что своей игрой заставит «невесту» поверить, будто действительно любит ее, обнажив за привычной профессиональной маской слой «истинных» чувств. Впрочем, в последнем случае к вполне невинному типу переключения — пересадке (актер делает то же, что всегда, но с другими целями) — добавится принципиально иной, отличный от переключения тип трансформации деятельности — *фабрикация*.

Фабрикация предполагает, что один или несколько людей целенаправленно формируют у другого человека или группы ложное, иллюзорное представление о происходящем. Данный класс трансформаций объединяет розыгрыши, экспериментальную инсценировку (навязывание испытуемому ложного представления о целях эксперимента), учебный обман (взлом сейфа для тестирования системы безопасности), «патерналистские конструкции» (сокрытие информации во благо жертвы), проверки (введение жертвы в заблуждение для оценки ее действий), а также многочисленные формы злонамеренного обмана.

Здесь, правда, появляется некоторая двусмысленность, связанная с понятием «намерения». По Гофману к сфабрикованным реальностям относятся также различные формы душевной болезни, сна, гипнотического состояния, наркотического опьянения и галлюцинаторных расстройств — все те «миры», которым У. Джеймс и А. Шюц приписывали суверенитет и самозаконность, а, следовательно, в терминах гофмановского фрейм-анализа их логично было бы отнести к результатам «переключения». Однако Гофман подчеркивает: это не переключения, но именно фабрикация. К примеру, сновидение — результат самообмана сновидца: «Нет сомнений, что во сне человек сам себя и по собственной воле обманывает. Особенность сна в том, что даже если главными героями выступают другие, только тот, кто видит сон, имеет привилегию по-разному оценивать происходящее во сне, по-разному вспоминать о нем, быть уверенным в том, что это — сон, пока он снится, и точно знать, когда сон закончится».⁴² Гофман напрямую сравнивает сновидения с розыгрышами: они так же хрупки и непрочны, в них так же легко

обнаружить различие маскирующего / маскируемого слоев реальности. И какими бы иллюзорными ни были эти формы, всегда есть тот, кто порождает иллюзию; даже если он сам — единственная жертва собственной фабрикации. Данное утверждение обнаруживает любопытные следствия для системы юридических фреймов. Наделяя сновидца «намерением» видеть сон (если бы он таковым не обладал, сновидение следовало бы относить к «переключениям»), Гофман проблематизирует традиционное для социологии понимание «намерения» и сохранившееся со времен Вебера юридическое представление о вменении ответственности.⁴³

Вопрос, поставленный здесь Гофманом — вопрос о границе между сфабрированными и переключенными мирами (скажем, различие документального и художественного фильма) — гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Потому что граница между переключением и фабрикацией может проходить внутри одного мира, который, таким образом, оказывается одновременно «транспонированным» и «сфабрированным». Это хорошо заметно на примере сетевых компьютерных игр. Представляя собой фабрикацию, аналогичные розыгрышам, компьютерные игры являются также и результатами вполне конкретных трансформаций рутинных, повседневных форм активности. Как здесь происходит распределение ответственности между автором фабрикации и автором действия в сфабрикованном мире?

Предполагается, что, в отличие от фабрикации, переключение-транспонирование не предполагает намеренного создания «иллюзий». Именно переключение являет собой пример ненамеренной и несфабрикованной «обратимости» миров — возможности «перенесения» события из одного смыслового

контекста («конечной области смысла», по Шюцу) в другой. Таким образом, нападение Дон Кихота на великанов в мире галлюцинаций — это одновременно и фабрикация (Дон Кихот сам вводит себя в заблуждение) и транспонирование атаки из рыцарских романов (которая, в свою очередь, является транспонированием реальной рыцарской битвы).

Трансформации накладываются на трансформации, обнаруживая «многослойность» эпизодов социального опыта. Причем, между двумя видами трансформаций нет никакого «избирательного сродства». Переключения накладываются на фабрикацию и наоборот. Например, помутнение сознания, вызванное маниакальным расстройством личности — фабрикация (форма «самообмана»). Симуляция «помутнения сознания» и «маниакального расстройства» молодым человеком, уклоняющимся от военного призыва — это фабрикация фабрикаций (причем, фабрикация далеко не «благонамеренная»). А вот репетиция симуляции перед зеркалом или в присутствии друга-психиатра, помогающего симитировать расстройство более правдоподобно, — это уже не фабрикация, но переключение (посредством ключа «технической переналадки»), наложенное на два слоя фабрикаций.

Однако чем дальше Гофман продвигается в своем анализе фреймированности повседневных событий, тем сомнительнее выглядит тезис об априорной различимости первичных и вторичных систем фреймов, неустранимой дистанции между «копией» и «оригиналом».

Рассмотрим в качестве примера событие «военных учений». Учения — это техническая переналадка боевых действий. Специфика перемещения войск, отдаваемых команд, выполняемых тактических

задач здесь предписывается определенным сценарием. Смысл сценария состоит в том, чтобы, с одной стороны, приблизить копию к оригиналу («условия, максимально приближенные к боевым...»), а с другой — сохранить происходящее в рамках фрейма трансформированной активности («без жертв»). Однако во фрейме «учения» к технической переналадке добавляется еще один слой трансформации — состязание. В учениях участвуют две противоборствующие «армии» и исход «войны» заранее не известен. Теперь представим, что все происходящее снимается для учебного фильма и должно *выглядеть реалистично*. С этой целью некоторые фрагменты учений играют «на камеру», солдаты принимают более сосредоточенный и «боевой» вид, стараясь максимально соответствовать своей роли. Так в структуру фрейма включается третий слой трансформации. Если же допустить, что не все фрагменты играют перед камерой одинаково удачно и требуют дополнительных репетиций, то мы сталкиваемся с еще одним слоем технической переналадки — но теперь сами учения выступают «оригиналом», а репетиция — «копией». Как видим, способы «расслоения» реальности повседневного события «учений» во многом сходны с фреймированностью события «свадьбы», которое мы анализировали выше.

Каждый следующий слой фрейма — это отражение отражения, перевод в новую систему координат того, что уже выдержало несколько переводов. В итоге Гофман оказывается перед необходимостью ответить на вопрос: как соотносятся между собой трансформированная и нетрансформированная деятельность в структуре жизненного мира? «Когда мы считаем что-либо нереальным, — пишет он, — мы иногда не учитываем, что реальность не обязатель-

но должна быть очень уже “реальной”; с таким же успехом она может быть как инсценировкой событий, так и самими этими событиями, а может быть репетицией репетиции или репродукцией оригинального изложения. Любое из изображений может быть в свою очередь создано путем копирования чего-то такого, что само является макетом, и это наводит нас на мысль, что суверенным бытием обладает отношение, а отнюдь не субстанция. (Бесценная авторская акварель, хранимая по соображениям безопасности в папке с репродукциями, оказывается в данном контексте лишь репродукцией)». ⁴⁴ Отсюда перенос внимания с самих форм опыта — рутинных или сфабрикованных — на отношения между ними.

Между копией и оригиналом нет разницы. Но не потому, что копия — это тоже своего рода оригинал, а потому что всякий оригинал — не более чем копия. Изображения являются такой же реальностью, как и сама реальность лишь потому, что никакой другой социальной реальности, кроме изображаемой, нет. «Я не думаю, — замечает в этой связи Гофман, — что Джеймс указал на что-то ценное в отношении “верховной” реальности (какая бы система фреймов при ее определении не задействовалась), однако я полагаю, он был очень находчив во всем, что связано с фиктивными областями. Его различение типов “субуниверсумов” не столь полезно, но утверждение того, что каждый из них имеет свой “особый и самостоятельный стиль существования”, представляет собой “согласованную систему” и каждый из этих миров “пока находится в центре внимания, по-своему реален” плодотворно. Этими идеями я обязан Джеймсу. Их я и попытался развить в “Анализе фреймов”». ⁴⁵

Теперь придадим гофмановской версии теории множественных миров операциональную форму.

С 2005-го по 2007-й год автор этой книги участвовал в качестве наблюдателя и организатора в трех балканских миссиях международного электорального мониторинга БДИПЧ ОБСЕ⁴⁶ и Европейской сети электорального мониторинга⁴⁷: в Албании (парламентские выборы 07.2005), в Боснии и Герцеговине (общие выборы 08.2006) и в Хорватии (парламентские выборы 11.2007). В каждой из миссий наблюдатели сталкивались с проблемой, описанной Гофманом: что позволяет говорить о некотором событии, как о принадлежащем первичной или вторичной системе фреймов?

Алгоритм «правильного» голосования в Албании включает в себя: вход в помещение — демонстрацию рук члену комиссии (проверка на наличие отметки о голосовании) — предъявление документа — получение бюллетеня — получение ультрафиолетовой отметки на руку (исключающей повторное голосование) — подход к месту для голосования и сам процесс голосования — опускание бюллетеня в урну — выход через вторую дверь. Это не жесткое предписание. Однако именно так выглядит данный процесс на значительном числе участков.

За некоторыми исключениями.

...Помещение избирательного участка разделено на две части ширмой. Два члена избирательной комиссии (женщины) находятся на одной стороне участка, два других члена (мужчины) — на другой. Через один вход заходят женщины, через другой — мужчины. Соответственно, одна из урн оказывается «женской», вторая — «мужской». Голосование происходит в полной тишине. Проголосовав, женщины возвращаются домой, мужчины — остаются около избирательного участка, курят и обсуждают исход выборов. Оба наблюдателя на участке оказались мужчинами, а потому на «женскую» часть не

заходят. В тех случаях, когда пожилые избиратели не умеют читать, они шепотом просят члена избирательной комиссии отметить в их бюллетене нужную им партию. Тот, как правило, делает это молча. Иногда бюллетени бросают в урну с нашептываниями и приговорами.

И мужчины и женщины одеты торжественно, возможно, в национальные костюмы...

Из отчета наблюдателей, Северная Албания.

Данный вид транспонирования не является широко распространенным. На выборах 2005 г. он был зафиксирован наблюдателями всего в двух местах (описание, приведенное выше, сделано на сельском избирательном участке в семи километрах от поселка Фуши-Аретц). Это фрейм «голосования как священнодействия»: событие волеизъявления становится экраном сильной символической проекции, ему сообщаются внятные религиозные коннотации. Что любопытно, оно не приводит к устранению женщин из голосования, им не чинится препятствий и что касается формальных нарушений — их здесь всего два (нарушение тайны голосования и препятствование наблюдателям в доступе на вторую половину участка, которое, к тому же, не является в прямом смысле слова «препятствованием»). Более того, по утверждению местных жителей, население села не является истово религиозным. Почему же именно в фрейм священнодействия было переключено событие голосования?

Вероятно, это побочное следствие самого использованного здесь ключа — *церемониала*. В процедуре голосования заложено немало элементов, подчеркивающих его торжественность и символичность. После переключения они усиливаются: ультрафиолетовая отметка на руке — уже не просто

техничный способ предотвратить повторное голосование одним и тем же лицом. Теперь это Знак, символический маркер человека, выполнившего свой гражданский долг.

Что любопытно, так это устойчивость, с которой привнесенные на избирательный участок чужеродные электоральному событию символические различия (мужское / женское, сакральное / профанное) поддерживаются и воспроизводятся в течение всего дня голосования. То, что составило трудность для международных наблюдателей — понять «правила игры» в этом помещении, ответить на вопрос «Что здесь происходит?» — не составляло никакого труда для местных жителей. Однако они далеко не всегда могли эксплицировать это свое знание правил игры. Правила оказались инкорпорированными и в обстановку избирательного участка, и в сами тела голосующих.

Принципиально другой тип переключения голосования — его перевод из электорального фрейма в фрейм фестиваля, празднества, локального торжества. Эта форма транспонирования, вероятно, распространена несколько шире, чем церемониальная, но тоже преимущественно в небольших деревнях и поселениях. Наблюдатели фиксировали элементы такого переключения не только в Албании, но и годом позже на выборах в Боснии и Герцеговине.

Пространство избирательного участка сильно «разрежено». Всего один стол для голосования стоит посреди комнаты без всяких загоронок и ширм. Люди голосуют, открыто демонстрируя всем свой выбор (голосование идет только за одну партию). На избирательном участке много посторонних, уже проголосовавших, которые играют роль зрителей. Мужья зачастую приходят с документами жен и голосуют за них. Члены избирательных комиссий и наблюдатели

свободно перемещаются по помещению и общаются с посторонними. После того как человек голосует, он поднимает бюллетень над головой и произносит тост или шутку. В ответ раздаются одобрительные возгласы и иногда аплодисменты. Опускание бюллетеня в урну также сопровождается возгласами и аплодисментами. Снаружи идет приготовление к празднеству, намеченному на окончание голосования.

Члены участковой избирательной комиссии непрерывно иронизируют, шутят над своими должностями, всячески их обыгрывают в диалогах. Обращаются друг к другу «Господин председатель избирательной комиссии», «госпожа секретарь комиссии» с преувеличенной церемонностью и игровыми интонациями.

Из отчетов наблюдателей, Босния и Герцеговина.

Здесь происходит превращение голосования в особого рода ритуал взаимодействия, призванный (как и все ритуалы) усиливать солидарность общества. Бессмысленно анализировать происходящее с точки зрения нарушений как отклонений от «правильной траектории» — нарушений здесь слишком много. С точки зрения фрейм-анализа интерес представляет то, как изменяется сама архитектура события при переключении его контекста. Мы видим, как пространство избирательного участка становится жестко центрированным: место для голосования оказывается чем-то вроде подиума или сцены, присутствующие — зрителями, а комиссия — жюри. В отличие от «правильного» электорального фрейма (и тем более в отличие от фрейма священнодействия, рассмотренного выше) этот фрейм допускает значительную свободу действий и перемещений. Это не церемониал, поскольку здесь нет имплицитного сценария и символических проекций. Ключом тут является «выдумка» («make-

believe»), а если более конкретно, то «игровое притворство» («playfulness») — одна из самых пространственных разновидностей «выдумки». Данный тип переключения транспонирует голосование в развлечение, *игру в голосование*, превращая волеизъявление в нечто рядоположенное популярным среди американских подростков «drinking-games».⁴⁸

Если предыдущий тип переключения — это сакрализация голосования (вывод фрагмента взаимодействия из первичной системы фреймов и перенос его во фрейм церемониальный с усилением всех символических элементов), то данный тип переключения это, напротив, профанация, то есть превращение события в профанное, мирское за счет пародирования, иронии, обыгрывания.

Каждая следующая трансформация — это усиление знаковых элементов события, превращение события в знак самого себя. Таким образом, каждое следующее наложение в структуре взаимодействия дается легче предыдущего. А потому вслед за переключением легко может последовать фабрикация. (И наоборот, переключение может стать элементом фабрикации, ее «внешним слоем», «отвлекающим маневром», маркером фигуративности.) Далее мы приводим фрагмент из дневника наблюдения, сделанного в удаленном сельском населенном пункте в 15 км. от города Ливно.

На участке царит оживленная атмосфера, люди непрерывно шутят над происходящим. В помещении находится много посторонних (уже проголосовавших?). Женщина, председатель участковой комиссии, периодически выходит из помещения и возвращается в него, громко обращается по именам к местным наблюдателям. Так же громко спрашивает у других членов избирательной комиссии: «А этот голосовал? Хорошо! А его дети приехали? Отлично!

Так, кто у нас еще отлынивает от исполнения гражданского долга?». Голосующие постоянно шутят с членами комиссии. Создается ощущение, что все происходящее происходит не всерьез.

К вечеру мы обратили внимание на то, что пещать на одной из избирательных урн повреждена. Эта урна стоит непосредственно около стола председателя. Моя напарница заметила, что на протяжении довольно длительного времени использовалась только одна урна. (Вторая, по всей видимости, находилась под столом председателя). При подведении итогов выяснилось, что проголосовали более 90% зарегистрированных на данном участке избирателей — гораздо больше, чем по нашим приблизительным подсчетам. Когда вскрыли одну из урн, на стол часть бюллетеней выпала плотной стопкой (что возможно, только если ее туда положили такой же стопкой). Однако члены комиссии не обращают на это внимания — они продолжают поддерживать игровой настрой и тут же засыпают выпавшую стопку вброшенных бюллетеней бюллетенями из другой урны, делая вид, что распределяют бюллетени между собой: «Ты, Иванко, мужчина заметный, поэтому возьми себе больше бюллетеней — ты быстро считаешь, а ты, Ивица, раньше учителем математики был — вот тебе стопка». Так подброшенные бюллетени «размешиваются» прямо на глазах наблюдателей. Председатель комиссии подмигивает нам, словно предлагая принять участие в веселом розыгрыше.

По итогам голосования на данном участке за партию HDZ проголосовало более 70% избирателей...

Из отчета, Босния и Герцеговина.

В приведенном фрагменте описан довольно типичный случай вброса бюллетеней, зафиксированный наблюдателями. (Зафиксированный только потому, что в какой-то момент, заподозрив мошенничество, они начали считать голосующих.) Эта фабрикация структурно связана с элементами того типа переключения («make-believe», «playfulness»),

которые были задействованы в данной ситуации. Как именно элементы фабрикации соотносятся с элементами переключения? Иными словами, когда и как игра становится обманом?

Мы можем лишь предположить, что переключение «готовит почву» и облегчает фабрикации, являясь ее частью. Точнее, само переключение здесь встроено в механику фабрикации. Спектакль, разыгранный перед наблюдателями, был, по-видимому, отвлекающим маневром для вброса бюллетеней. Однако не случайно и то, что именно «игровое притворство», а не «состязание» или «церемониал», были выбраны для этой цели. Благодаря использованию ключа «выдумка» выборы начинают осознаваться как нечто ненастоящее, притворное, игровое. А то, что уже воспринимается как притворство, довольно легко трансформировать дальше — в мошенничество.

Фрейм-аналитик мечтает создать полный каталог транспонирований, позволяющий с уверенностью сказать, как именно «деформируется» событие p_1 при его переносе из фрейма N в фрейм N' . Достичь подобной степени формализации, приблизив фрейм-анализ если не к «математике», то хотя бы к «сольфеджио» взаимодействий, столь же заманчиво, сколь затруднительно.

Что упускается из виду при прослеживании цепочки переключений? Как минимум, два аспекта, на которых мы акцентировали внимание в четвертой главе — *материальность* события и *вовлеченность* наблюдателя / действующего. Параметры вовлеченности и материальности непосредственно связаны. Иллюстрацией их связи может служить пример транспонирования рутинного и тривиального события — использования ремня безопасности в автомобиле.

В микроавтобусах «Газель» есть два передних пассажирских сиденья, расположенных рядом с местом водителя. В некоторых моделях эти сиденья сдвоены и для них предусмотрен один общий ремень безопасности. Пристегнувшись, вы оказываетесь намертво связанным со своим соседом; причем, у пассажира, сидящего ближе к двери, ремень проходит в районе горла, а у пассажира, сидящего рядом с коробкой передач, — в области диафрагмы. Водители, привыкшие к подобным ситуациям, рекомендуют пассажиру у двери не тянуть ремень через сдвоенное сиденье, а просто накинуть его на грудь, прижав застежку левой ногой. Тогда он не будет сковывать движений (левая нога не в счет), а стоящие у обочины автоинспекторы не почувствуют подвоха, успев разглядеть перекинутый через плечо пассажира ремень. В сущности, «Газель» — крайний случай вынужденного нарушения ПДД из-за ошибки в конструкции. После очередного ужесточения в России правил дорожного движения (до которого ремень безопасности в автомобилях выполнял преимущественно декоративную функцию) немалое число водителей предпочитают не пристегивать, а накидывать это приспособление.

Итак, налицо механизм транспонирования (хотя, если строго следовать гофмановской терминологии, следовало бы говорить о фабрикации). Пристегивание как действие в первичном фрейме — при всей условности разделения фреймов на первичные и вторичные — переключается в «накидывание», то есть «как бы пристегивание». Это уже не забота о собственной безопасности и даже не рутинное совершение элементарной технической операции, а некоторый спектакль, инсценировка, игра на публику (причем, публика у автомобилистов вполне определенная и весьма взыскательная). Од-

нако еще более радикальный механизм транспонирования предложили производители оригинального продукта — *белых рубашек с нарисованными на них ремнями безопасности* (в двух версиях: водительской и пассажирской или — что, впрочем, одно и то же — для владельцев машин с правым и левым рулем).

Формально мы можем два эти типа транспонирования («накидывание» и «визуальный обман посредством изображения ремня безопасности на рубашке») описать следующим образом:

1. $n_1(N) \rightarrow x \rightarrow n_2(N')$
2. $n_1(N) \rightarrow y \rightarrow n_3(N'')$

Где событие n_1 , принадлежащее множеству событий N , транспонируется посредством ключа x в игровой фрейм N' , становясь событием n_2 . Аналогичным образом посредством ключа y это же событие транспонируется в фрейм N'' , становясь событием n_3 . Отношения, которые связывают теперь событие n_1 с событиями n_2 и n_3 , — суть отношения означания, сигнификации. Сравнив события n_2 и n_3 , мы получим представление о том, как по-разному действуют механизмы x и y . Нечто подобное мы и пытались сделать в исследовании транспонирований события голосования — его переключения посредством механизмов «ритуализации», «инсценировки», «состязания» и т.п.

Однако переключение событий не происходит спонтанно и стихийно; например, в случае с незнательным автомобилистом транспонированию предшествует конкретное решение — инсценировать пристегивание, заменив его накидыванием или прибегнув к визуальному обману. Само транспонирование становится возможным, благо-

даря тому, что ремень безопасности (как и все материальные объекты, включенные в социальные взаимодействия) сообщает событию своего использования одновременно «буквальные» (literal) и фигуративные (non-literal) элементы.

Пытаясь создать универсальные таблицы транспонирований, показывая, как «деформируются» события (голосования или пользования ремнем безопасности) при их переводе из одной системы фреймов в другую посредством разных ключей, формализуя свои описания, стилизуя их под примеры из теории множеств, мы упускаем из виду вовлеченность (а вместе с ней и материальность события, и телесность наблюдателя / действующего). Голосование, в котором вы приняли участие за компанию с родителями, и голосование, в котором вы — один из баллотирующихся кандидатов, это разные события, даже если совершены они в одном и том же первичном фрейме N. Причем различают их не отношения транспонирования, а *режимы вовлеченности*.

Но мы сейчас не пойдем в эту сторону (отчасти потому, что уже описали данный ход, связанный с гофмановским понятием «режим вовлеченности», джеймсовской «верой» и бергсоновским «напряжением внимания к жизни», в другом месте⁴⁹). Зафиксируем пока предложенное Гофманом решение загадки Дон Кихота: атака «реального» конного рыцаря транспонируется в ее описание в рыцарском романе, а оно, в свою очередь, транспонируется в атаку Дон Кихота на ветряные мельницы. События в разных смысловых мирах связаны друг с другом отношениями «переключения».

Что ответит на это теория действия?

«Дело Брауна» и «Дело Бастамонте»

Летом 2000-го года трое полицейских остановили междугородний автобус на выезде из Нью-Йорка. «Рутинная проверка» — сказал старший по званию водителю, после чего занял его место и закрыл переднюю дверь. Второй полицейский встал около задней двери автобуса. Третий начал медленно двигаться по проходу, наблюдая за реакцией пассажиров. Его внимание привлекли двое молодых людей. Полицейский спросил одного из них, по фамилии Браун, есть ли у того багаж. Пассажир ответил, что есть. «Вы не против, если я его обыщу?» — спросил офицер. Браун достал с полки рюкзак. Ничего не обнаружив, полицейский продолжил: «Вы не против, если я обыщу Вас?» (дословно: «Do you mind if I check your person?»). Браун не ответил, но встал и поднял вверх руки. Полицейский нашел приклеенный скотчем к животу подозреваемого пакетик с кокаином и задержал Брауна, зачитав ему стандартное «предупреждение Миранды»⁵⁰. Аналогичная процедура повторилась и с приятелем Брауна по фамилии Дрэйтон. Дрэйтон сходным образом согласился на обыск и тоже был задержан после обнаружения спрятанной на теле порции кокаина.

В 2002-м году дела Брауна и Дрэйтона дошли до Верховного суда США.⁵¹ Причина апелляции напомнила судье другой случай — прецедент тридцатилетней давности (1971). Тогда шестеро молодых людей — Джоуи Гонсалес, Роберт Бастамонте, Джоуи Алкала и трое их друзей — были задержаны полицейскими небольшого городка в северной Калифорнии.

Подозреваемые находились в машине, которую остановил патрульный. За рулем был Гонсалес, права из всей компании оказались только у Алкалы, а автомобиль, как выяснилось, и вовсе принадлежал его брату. Все пассажиры, подчиняясь требованию патрульного, вышли из машины, двое других подоспевших полицейских попросили разрешения заглянуть в багажник. Произнесенную полицейским фразу — «Does the trunk open?» — мой коллега Кирилл Титаев предложил переводить (скорее по смыслу, чем по форме) аналогичной фразой из практики российских полицейских: «Багажничек откроем?». Алкала ответил «да» и открыл багажник, в котором полицейские обнаружили три украденных банковских чека. На основании этой находки Роберт Бастамонте был позднее обвинен в попытке мошенничества.⁵² В 2002-м году это дело всплыло в Верховном суде вновь, на этот раз в качестве прецедента.

Что роднит случай Бастамонте и случай Брауна-Дрэйтона? Прежде всего, причина апелляций, поданных их адвокатами. И в 1971-м, и в 2002-м защитники подсудимых упирали на незаконность ареста — из-за чего эти дела и дошли до Верховного суда. По мнению адвоката Бастамонте при обыске багажника полицейские нарушили Четвертую поправку к Конституции США, которая гарантирует каждому право на защиту от незаконных обысков и арестов. Без ордера полицейские могли произвести обыск багажника лишь в двух случаях — либо чтобы предотвратить непосредственно совершающееся преступление (ни подозрительное поведение, ни отсутствие водительских прав не могли являться достаточными основаниями для подобного вывода), либо в случае добровольного согласия (*voluntarily consent*) подозреваемых.

Но разве добровольное согласие на обыск в обоих случаях не было получено? «Нет», — заявили адвокаты. *Дело в том, что полицейские задали свои вопросы без вопросительной интонации.* А, следовательно, они не были вопросами. Действительно, попробуйте произнести фразу «Багажничек откроем?» вслух и вы поймете, как мало в этом вопросе от вопроса. Даже в английском языке, где вопрос от приказа отличается еще и порядком слов в предложении, интонация оказывается важнее грамматики. Таким образом, подсудимые не давали добровольного согласия, но подчинялись приказам.

Предположим, Джоуи Алкала не знал о сомнительных чеках своего приятеля в багажнике машины. Однако Дрэйтон и Браун наверняка знали о пакетиках с кокаином на своем теле. «Зачем нормальному рациональному человеку, перевозящему наркотики или иные свидетельства своей незаконной активности, соглашаться на полицейский обыск? — задаются вопросом Питер Тиерсма и Лоуренс Солан (детально описавшие эти два кейса в своей замечательной статье) — Хотя в случае с делом Бастамонте суд и постановил, что “ни лингвистика, ни эпистемология не дают готового определения добровольного согласия”, <...> мы полагаем, что этот случай имеет прямое отношение к лингвистике».⁵³ Разумеется, если бы Алкала, Бастамонте, Дрэйтон или Браун знали о своем конституционном праве отказать полицейскому, они бы это сделали — таков вывод авторов. Что же помешало обвиняемым? «К примеру, водителям без юридического образования, — пишут Тиерсма и Солан, — крайне сложно разобраться: какое из высказываний полицейского является требованием, которому они могут не подчиниться только на собственный

страх и риск, а какое — простой просьбой, которую они имеют право отклонить. Скажем, юридически говоря, “Могу я увидеть Ваши права?” — это, несомненно, приказ, а “Могу я заглянуть в багажник?” — это просто просьба^{.54}

Где же проходит граница между приказом и просьбой? Тиерсма и Солан призывают на помощь теорию речевых актов Дж. Остина и Дж. Серля.⁵⁵ Есть высказывания, которые в большей степени являются действиями, чем описаниями наличного положения дел. «Идет дождь» — это констатация, а «Я вызываю Вас на дуэль!» — очевидно, действие. Сказать в разговоре «сволочь» о ком-то из общих знакомых — значит констатировать некоторое (истинное или ложное) положение дел, но сказать «Сволочь!» в лицо собеседнику (что важно, без шутливой интонации) — это действие оскорбления. Такие высказывания-действия создатели теории речевых актов называют *перформативами*. Высказывание полицейского — независимо от того, считать ли его просьбой или приказом — было перформативным. Но были ли действиями ответные реакции подсудимых? И здесь мы снова подходим к линии напряжения между теорией фреймов и теорией действия.

В описанных прецедентах можно различить три аспекта:

- намерение и субъективный смысл, вложенный действующими в свое действие (интенциональный аспект);
- интонацию, с которой некоторое действие совершается (прагматический аспект);
- ситуацию, в которой оно совершается (контекстуальный аспект).

Для классической веберовской теории действия решающим является первый критерий — субъективно полагаемый смысл. Если Браун отдавал себе отчет в том, что он делает, поднимая руки, если это не было спонтанным нервным тиком или неконтролируемой эмоциональной реакцией — его апелляция не имеет силы. Именно так и постановил Верховный суд в случае с делом Бастамонте (а затем и с делом Брауна-Дрэйтона). Не найдя оснований для определения «добровольного согласия» в эпистемологии и лингвистике, судьи применили к действиям подсудимых ту же логику, которую традиционно применяли при определении добровольности *признания*: «Если признание является результатом проявления свободной воли сознающего, оно может быть использовано против него».⁵⁶ А как установить «следы» свободной воли? Остаточным образом, по отсутствию внешнего принуждения. Полицейские не вынуждали Брауна и Дрэйтона поднимать руки, они не прибегли к сознательному обману, не применили силу. Судьям этого было достаточно, чтобы вменить подсудимым намерение, признать их действия интенциональными.

Фрейм-аналитик решил бы эту задачу принципиально иначе. Для теории фреймов смысл действия сокрыт не в намерении действующего, а в ситуации самого действования. Посмотрим еще раз на описания ситуаций обыска. Оба события были недвусмысленно фреймированы как «обыск». Участники — как полицейские, так и подсудимые — действовали фреймосообразно. Мы не знаем, были ли действия субъектов действиями в собственном смысле слова, но они, несомненно, были маркерами ситуации, которая одинаково «считывалась» всеми действующими лицами. Чтобы понять

действие, мы должны анализировать смысловую архитектуру того контекста, в котором оно совершается. Рассмотрим другой судебный прецедент: в аэропорту человек кладет свою ручную кладь на «просветку». Охранник обращает внимание на подозрительный объект в сумке, который при досмотре оказывается пакетиком с кокаином. Обвиняемый на суде заявляет, что не давал согласия на досмотр — в его сумку заглянули без его разрешения. Суд принимает это обстоятельство во внимание и удаляет улику из дела. Но суд вышестоящей инстанции решает, что «сам акт помещения ручной клади на ленту означал добровольное согласие и на досмотр посредством рентгеновского излучения, и на ручной досмотр в случае возникновения подозрений».⁵⁷ Иными словами: его никто не заставлял ставить сумку на ленту, он сделал это осознанно, осмысленно, намеренно и добровольно. Ситуация выносится за скобки, в фокусе остается только намерение и смыслополагание.

Если бы речь шла исключительно о противопоставлении «намерение действующего vs. ситуация действия», мы бы остались в пределах уже описанной в предыдущих главах дилеммы Дон Кихота. Но Тиерсма и Солан неслучайно апеллируют к концепции речевых актов и прагматике дискурса. За их теоретическим ходом стоит радикальная философская инновация второй половины XX века: субъективное намерение и объективная ситуация в равной степени вторичны по отношению к *интонации*, *прагматике* высказывания.

Когда отец-основатель современной лингвистики Фердинанд де Соссюр в начале прошлого века читал свой «Курс общей лингвистики»⁵⁸, он развел

два понятия «язык» и «речь». Язык — это структура, устойчивая и воспроизводимая. Поэтому его можно изучать, не привлекая внешних по отношению к нему объяснительных схем, т.е. объяснять языковые феномены языковыми же феноменами. Напротив, речь текуча, изменчива и подвержена влиянию множества социальных, культурных и психологических факторов. Чтобы лингвистика стала настоящей наукой, она должна очистить свой предмет — язык — от речи. Полвека спустя Людвиг Витгенштейн (вместо того чтобы стереть проведенную де Соссюром границу и провести свою собственную), сохранив это различие, развернет соссюровский аргумент на сто восемьдесят градусов: речь — конкретная практика, наблюдаемая и доступная изучению здесь-и-сейчас, тогда как язык — формальная абстракция, бытующая исключительно в головах лингвистов. Речь — первична, язык — вторичен.⁵⁹ (Неслучайно журнал, в котором, по мнению Тиерсма и Солана, юридические вопросы получают наиболее адекватную лингвистическую проработку, называется «International Journal of Speech, Language and the Law».)

В социологии этот витгенштейновский переворот известен как «поворот к практике» или «прагматический поворот». Возникшая из прагматического решения социологическая теория практик, с одной стороны, наследует классической теории действия (поддерживая ее в борьбе с «контекстуализмом»), с другой — беспардонно подменяет ключевые веберовские интуиции витгенштейновскими.

Фрейм-аналитики всегда свято верили, что контексты действий самоценны, устойчивы и относительно независимы как от намерений действующих, так и от самих их действий. Но теория

практик выступила с неожиданным решением: контекст (фрейм) действия *неотчуждаем* от самого действия. Действие — это то, *как* оно совершается. Смысл фразы «Багажничек откроем» определяется не намерением полицейского и не ситуацией ее произнесения, а той интонацией, с которой она произнесена. Мы не будем здесь подробно рассматривать этот тезис (который в теории практик называется «тезисом об индексичности»), но обратим внимание на его следствия.

Предположим, что действительно интонация, прагматика действия и есть его смысл. Предположим также, что мы не можем говорить о контексте действия как о некоторой автономной и независимой от него форме, потому что каждое действие несет свой контекст в себе и ситуации непрерывно трансформируются в потоке практик. Значит ли это, что если бы полицейский произнес фразу «Багажничек откроем?» с самой выразительной из возможных вопросительных интонаций, никакого прецедента бы не было? И тогда это была бы просьба, а не приказ — несмотря на все объективные обстоятельства? И если бы полицейский добавил: «Вы имеете право отказаться», ситуация была бы принципиально иной? Вероятно, нет.

Когда на вылете из аэропорта Катманду обыскивающий вас сотрудник непальской службы безопасности заглядывает в ваш бумажник и спрашивает: «Можно мне одну купюру?» — вы понимаете, что это просьба о сувенире, а не вымогание взятки, но не потому что произносит он это с соответствующей просительной интонацией, а потому что в кошельке у вас — российские рубли. Интонация, конечно, очень важна для анализа специфики протекания действия, но не стоит переоценивать зна-

чение прагматического аспекта. Фрейм «обыск» — весьма жесткая и довольно ригидная конструкция, ничем не напоминающая изменчивый «прагматический контекст» или «языковую игру»; она не трансформируется в потоке практик и не преобразуется с каждым произнесенным перформативом. Перформативное высказывание «Суд признает обвиняемого виновным!» действительно трансформирует «положение вещей в мире»⁶⁰ (например, статус обвиняемого), но это по-прежнему высказывание в фрейме судебного заседания — суд не перестает быть судом. Иными словами, великаны не были произведены самим актом атаки Дон Кихота. Тот воображаемый мир, в котором действует Дон Кихот, не создается и не исчерпывается его действиями. Возвращаясь к «делу Брауна-Дрэйтона» можно было бы сказать: отсутствие вопросительной интонации делает высказывание полицейского «не-просьбой», но приказом его делает сам контекст «обыска».

Впрочем, при всей неудовлетворительности прагматического решения (и превратностях самой идейной эволюции от теории действия к теории практик, от интенции к прагматике), обратим внимание на то ценное, что дает нам этот прецедент — на идею перформатива. Она возвращает нас к заданному ранее вопросу: в каком отношении находятся фрейм восприятия и воспринимаемое событие / действие? Существуют ли действия, не просто выходящие за рамки, но разрушающие некоторые «конечные области смыслов»? Такие экстраординарные события, которые несут угрозу отдельным мирам? То есть не только заставляют снять с них «акцент реальности» (как мы видели на примере с Дон Кихотом), но делают их невозможными?

Экстраординарные события vs. Мир повседневности

В одном из своих многочисленных интервью Джесс Лористон Ливермор заметил: «На Уолл-стрит всегда все одно и то же. Спекуляция стара как этот мир — сегодня на бирже происходит то, что уже было прежде и что повторится потом...».⁶¹ В 20-х годах Ливермор был крупнейшим из финансовых игроков; предвосхитив крушение рынков и последующую биржевую панику, он заработал на Великой Депрессии более ста миллионов долларов. Однако в 1940-м году Дж. Л. Ливермор покончил с собой после нескольких неудачных финансовых операций.

События 2008—2009 гг. на мировых финансовых рынках в очередной раз привлекли внимание исследователей к проблеме изучения неожиданных, уникальных и трудно прогнозируемых событий. Свидетельство тому — необычайная популярность книги Нассима Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», написанная им за два года до кризиса.⁶² «Черные лебеди» — это маловероятные, непредсказуемые события, не вписывающиеся в наши способы мышления о мире и потому остающиеся «за скобками» привычных описаний и прогнозов. Подобно Фрэнсису Бэкону, Талеб описывает разные типы широко распространенных идолов-заблуждений: *нарративных* (запоздалое вменение причины произошедшему событию на этапе его описания), *игровых* (использование игровых аналогий для моделирования мира), *ретроспективных* (вера в то, что будущие события можно предсказать благодаря изучению прошлых). Воспользовавшись ситуацией

замешательства, предшествовавшей коллапсу, Нассим Николас Талеб — в недавнем прошлом владелец хедж-фонда «Empirica LLC» и экономист-эпистемолог — по-своему напомнил аналитикам, что «реальность богаче всяких схем».

Впрочем, если с прогнозами у социальных наук всегда были проблемы (позитивистски мыслящие отцы-основатели не сдержали обещания создать точную дисциплину, способную предсказывать будущее), то теперь сомнения коснулись самой возможности *описать* непредсказуемое. Ведь так же, как предсказание строится на знании регулярностей, описание основывается на оптических возможностях языка — то есть на представимости события его, языка, средствами. Я знаю, что солнце взойдет завтра утром, потому что оно делает это регулярно (для такого предсказания мне не нужно быть специалистом по астрономии и видеть за регулярностями закономерности), но я могу описать восход лишь постольку, поскольку в используемом мною языке есть подходящие для этого ресурсы. Благодаря таким ресурсам можно не только описать актуальный восход, но и вообразить его в будущем свершенном времени (*in modo futuri exacti*). И если некий «черный лебедь» астрономического масштаба сделает завтрашний восход невозможным, случайно выживший наблюдатель может обнаружить, что у него не хватает ресурсов для описания произошедшего, в его когнитивных схемах просто отсутствует подходящая ячейка для подобного рода событий.⁶³

Однако отнюдь не только «конечные» события, разрушающие некоторую систему фреймов и связанный с ней социальный порядок, создают трудности для наблюдения и описания. События «начальные» — то есть события, порождающие новый социальный

порядок — не менее сложно схватить в языке. В социальной топологии такие события называются событиями *морфогенеза*.⁶⁴ К морфогенетическим событиям, например, относится учреждение новой нормативно-правовой системы. Принятие Конституции США американским конвентом не описывается в тех различениях, которые предлагает нам сама эта Конституция. Принятие основного закона как правоустанавливающее действие само не принадлежит суверенной сфере права. Более того, *«суверенитет» правовой системы и ее самозаконность обеспечены тем, что событие ее учреждения не подпадает под ее действие.*

Отсюда парадокс. В основании суверенных событийных порядков, систем фреймов и языков описаний лежат уникальные события (уникальные, как минимум, для этих порядков). То есть уникальные события делают возможными все последующие операции наблюдения и самонаблюдения, осуществляемые в рамках данного порядка. Но сами эти события недоступны описанию на языке тех порядков, которые они учреждают. Отсюда необходимость «вписать» в новый порядок учредительное событие, «переведа» его на им же созданный язык — создать его воспроизводимую референцию. В качестве таких референций могут быть рассмотрены преамбулы к конституциям, космогонические мифы первобытных сообществ или отсылки к абсолютной ценности знания в инаугурационных речах университетских ректоров. В отличие от неповторимого уникального учредительного события, его референции в языке учрежденного им социального порядка воспроизводятся регулярно и доступны целенаправленным манипуляциям.

Далее мы сфокусируемся на напряжении между определенным классом событий (А.Ф. Филиппов

предлагает называть их *абсолютными*) и социальным порядком, понимаемым, прежде всего, как порядок наблюдений и описаний — то есть как порядок фреймирования. Меня особенно интересуют механизмы, позволяющие заместить или преобразовать абсолютное событие в нечто повседневное, рутинное и привычное — *эффекты оповседневливания*.⁶⁵

Абсолютные события противостоят событиям относительным. «Членение относительных событий, — пишет Филиппов, — зависит от правил внимания и тематизации, согласованных сообществом наблюдателей. Таким образом, социальное внимание к событию имеет решающее значение для его квалификации... Вместе с тем, существуют события, которые, так сказать, не “окружены” иными событиями, и соотнесены с прочими событиями как индуцирующие, но не индуцируемые. В горизонте событий они носят, как правило, характер *предельный*. Таковы, прежде всего, события начала и прекращения существования, среди которых для нас важнее всего *рождение* и *смерть*. Сюда относятся *учредительные* события, как подлинные, так и мифические, с которых начинается отсчет хронологии исторических событий. Наконец, сюда относятся события *сакральные*, то есть обладающие статусом явления трансцендентного в посюстороннем».⁶⁶

Итак, абсолютные события крайне сложно свести к конституирующему вниманию наблюдателя или используемой им системе фреймов. Они выламываются из всех различений, упорно отказываясь вписываться в ячейки когнитивных схем. Они обладают *принудительной релевантностью* — их нельзя не заметить. Они перформативны: абсолютные события скорее создают новые системы различений, чем описываются уже существующими. Именно

поэтому возникает пауза между абсолютным событием и событиями его описания — у наблюдателей не сразу появляются определения происшедшему, обнаруживается дефицит квалификаций.

Благодаря абсолютным событиям трансцендентное напоминает о себе наблюдателям, погруженным в рутинные, повседневные взаимодействия. Они, наблюдатели, регистрируют предсказуемым образом повторяющиеся события, помещают их в отработанные и надежные системы фреймов, дают им многократно обкатанные интерпретации. И делают это до тех пор, пока не происходит нечто, ломающее их социальный порядок, рвущее цепочку наблюдений и описаний. Когда это происходит, практики становятся поступками, социальное оборачивается экзистенциальным, появляются неожиданные интонации в самых обыденных взаимодействиях. Абсолютное событие «прожигает» ткань повседневности. Как замечает по этому поводу Бернхард Вальденфельс: «Часто неизвестное является нам в соединении внезапного и могущественного. В первую очередь это относится к моментам возникновения, преобразования, опасности уничтожения индивидуального и коллективного жизненного порядка, а точнее, к рождению, периоду половой зрелости, к полетам воображения, к болезни и смерти, а также к закладке города, к войнам и революциям, к возникновению Вселенной и природным катастрофам и часто встречающимся сегодня крупным авариям».⁶⁷ Список абсолютных событий у Вальденфельса (как классификация подмиров у Джеймса) более всего напоминает борхесовскую «китайскую энциклопедию», но, несмотря на гетерогенность, он очень точно передает основную интересующую нас интуицию — интуицию не-повседневности.

Абсолютные события впоследствии могут быть подвергнуты де-абсолютизации: то, что недавно переживалось как уникальное, не имеющее аналогов, потрясающее основы, оказывается привычным, рутинным и повседневным. Системы фреймов наносят ответный удар: можно жить в плохо предсказуемом мире, но невозможно жить в мире неопишуемом и неразличимом. «Дыры», оставленные абсолютными событиями в ткани повседневности, быстро зарубцовываются, затягиваются новыми рутинными практиками и новыми именованиями. Это процесс регенерации повседневного мира, который Вальденфельс вслед за Максом Вебером называет «оповседневливанием» (*Veralltäglichung*).

Я перечислю несколько эффектов, возникающих в этом процессе лишения уникальных событий их особого статуса. Благодаря таким эффектам процесс регенерации повседневности становится различимым, наблюдаемым и квалифицируемым.

1. *Эффект Керета-Стругацких (эффект апроприации)* по своему действию является прямой противоположностью «эффекту остранения» Шкловского-Брехта. В. Шкловский использует понятие «остранения» для анализа изображения вещей Л. Толстым, приводя в качестве примера описание события оперного спектакля в «Войне и мире»: «...Во втором акте были картины, изображающие монументы, и были дыры в полотне, изображающие луну, и абажуры, на рамке подняли, и стали играть в басу трубы и контрабасы, и справа и слева вышло много людей в черных мантиях. Люди стали махать руками, и в руках у них было что-то вроде кинжалов; потом прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь ту девицу, которая была

прежде в белом, а теперь в голубом платье. Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели, а потом уже ее утащили, и за кулисами ударили три раза во что-то металлическое, и все стали на колени и запели молитву. Несколько раз все эти действия прерывались восторженными криками зрителей».

Толстой, утверждает Шкловский⁶⁸, намеренно использует такое описание события, которое делает его странным и непривычным. Это — его способ борьбы с автоматизмом читательского восприятия, подменяющим видение узнаванием. Поскольку «автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны»⁶⁹, то «приемом искусства является прием <...> затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия»⁷⁰. Привычное в жизни должно стать странным благодаря языку искусства. Позднее Бертольд Брехт разовьет эту мысль в теории эффекта остранения («*Verfremdungseffekt*»).

Не пересказывая известную полудетективную историю термина «остранение» (которая связана с типографскими ошибками, ложными этимологиями и обратными переводами), подчеркнем ее влияние на историю социологии. Питер Уинч в книге «Идея социальной науки и ее отношение к философии» предостерегает социологов от чрезмерного увлечения «эффектом остранения»: «Мы не отрицаем, что иногда полезно использовать механизмы, подобные “экстернализации” Вебером своего описания ситуации. Оно может сослужить службу, привлекая внимание читателя к аспектам, которые настолько очевидны и знакомы, что иначе он их пропустит... С другой стороны, его можно сравнивать с *Verfremdungseffekt*, которого стремился достигнуть Бертольд Брехт в своих театральных произведениях, или с использованием Карадогом

Эвансом диковинных дословных переводов с валлийского в его зловещих сатирических историях о западном Уэльсе. Цель всех этих механизмов — потряхнуть читателя или зрителя из его довольной миопии, к которой может привести слишком близкое знание чего-то. Опасность заключается в том, что пользователь таких механизмов может привыкнуть к мысли о *своем* способе взгляда на вещи как на что-то более реальное, чем обычный взгляд»⁷¹. Позднее, все, связанное, с социологическим ostracism с отстранением привычных социальных феноменов и их вырыванием из контекста в целях анализа, будет заклеено критиками социальных наук как «методологическая ирония»⁷².

Эффект отстранения делает знакомое чужим и непривычным. Эффект апроприации, напротив, проявляется в описаниях чуждого и загадочного как легкоузнаваемого и привычного. Так же, как и эффект отстранения, механику апроприации легче всего заметить в художественных повествованиях. Например, вторжение марсиан в повести братьев Стругацких рутинизируется, опривычивается, становится чем-то естественным и логичным. Описанием этого события повесть начинается и заканчивается. Сравним два нарратива.

До апроприации:

«Около часу я был разбужен сильным, хотя и отдаленным, грохотом и поражен зловещей игрой красных пятен на стенах спальни. Грохот был рокочущий и перекатывающийся, подобный тому, какой бывает при землетрясениях, так что весь дом колебался, звенели стекла, и пузырьки подпрыгивали на ночном столике. Испугавшись, я бросился к окну. Небо на севере полыхало: казалось, будто там, за далеким горизонтом, земля разверзлась и выбрасывает к самым звездам фонтаны разноцветного огня».

После апроприации:

«Сейчас я выглянул в окно. Дивная летняя ночь распахнула над городом бездонное небо, усеянное мириадами мерцающих звезд. Теплый ветерок струит волшебные ароматы и ласкает ветви уснувших деревьев. Чу! — слышится легкое жужжание заблудившегося в траве светлячка, спешащего на свидание к своей изумрудной возлюбленной. Сон и благодать опустились на уставший от дневных трудов городок. Нет, как-то не так все-таки. Ну ладно. Я это к тому, что красиво было, когда над городом символом мира и безопасности бесшумно прошли в вышине сияющие волшебным светом огромные летающие корабли, сразу видно, что не наши...»⁷³.

Если остранение — это деконтекстуализация описываемого события, его намеренное выведение из контекста, то апроприация — напротив, помещение его в узнаваемый и привычный нарративный контекст. Писатель, сделавший апроприацию одним из основных своих литературных инструментов — Этгар Керет, в рассказах которого события экстраординарные (убийство премьер-министра, авиакатастрофа, природные катаклизмы, террористический акт, геноцид) представлены как самоочевидные, само собой разумеющиеся⁷⁴. Впрочем, разбор используемых им писательских приемов уведет нас в область филологии.

Тем не менее обращение к литературным повествованиям неизбежно, когда речь заходит об эффекте Керета-Стругацких. Апроприация осуществляется в нарративе. В самом наблюдении ее еще нет. Этот эффект возникает лишь на этапе описания события, когда наблюдатель становится нарратором. Поняв, как работает эффект апроприации в литературных текстах, мы легко сможем распознать его действие и в других типах повествования.

2. *Эффект Ровера, он же эффект типизации.* В отличие от эффекта Керета-Стругацких, который характеризует конституирование события в описании, типизация проявляется уже в наблюдении. Операция наблюдения и регистрации события только и становится возможной благодаря системам фреймов, а потому фреймирование события (еще до построения нарратива о нем) предполагает некоторые типизирующие способности наблюдателя. Так же как апроприация экстраординарных событий в нарративе отсылает нас к литературоведческим исследованиям, типизация события воспринимающим субъектом — истонная область феноменологии. Альфред Шюц следующим образом обосновал интерес социолога к типизации: «...мир, в котором мы живем, состоит из ограниченного числа объектов с более или менее определенными свойствами; объектов, среди которых мы передвигаемся, на которые мы можем воздействовать и которые сопротивляются этому воздействию. Однако ни один из этих объектов не воспринимается как изолированный. Он изначально помещен в горизонт уже знакомого и известного, воспринимается как неоспоримая данность до последующего упоминания, не проблематизированный, но в любое время проблематизируемый запас наличного знания. Непроблематизированный предшествующий опыт, однако, изначально дан как *типизированный*, т.е. несущий открытый горизонт ожидаемого сходного опыта»⁷⁵.

Шюц (вслед за Гуссерлем) развивает идею антиципации — предвосхищения свойств некоторого объекта благодаря знанию иных объектов «того же типа». Типизация делает мир предсказуемым. Но что если объект является «специфичным», не сводимым к некоторому предзаданному набору свойств определенного типа? Во всяком случае, не сводимым к нему

полностью? Для последовательного феноменолога даже глубоко индивидуальные свойства объекта воспринимаются в типизированной форме: «...мне не нужно никаких специальных средств, чтобы думать о конкретной собаке как об экземпляре всеобщего понятия “собака”. Мой ирландский сеттер Ровер “в целом” демонстрирует все типичные черты, которые, согласно моему прошлому опыту, подразумеваются в понятии “собака”. Однако меня не интересует то, что присуще ему наравне с другими собаками. Я вижу в нем своего друга и товарища Ровера, и в качестве такового отличного от всех прочих ирландских сеттеров, имеющих общие с ним черты внешности и поведения; я не склонен, не имея на то особой причины, видеть в Ровере млекопитающее, животное, объект внешнего мира, хотя я и знаю, что всем этим он тоже является»⁷⁶. Иными словами то типическое, что есть в Ровере для Шюца нерелевантно.

Система релевантностей Шюца делает Ровера «экстраординарным». Но это не значит, что у Ровера нет иных, типических черт. «Это значит, — продолжает Шюц — что если объект **S** имеет специфическое свойство **p**, выражение “**S** есть **p**” является эллиптическим. Ибо **S**, взятое в его явленности мне как неоспоримой данности, не обладает лишь свойством **p**, но также и **q**, и **r**, и множеством других. Так что полное высказывание следует читать: “**S** есть, помимо **q** и **r**, еще и **p**”. Если я утверждаю по отношению к само собой разумеющимся элементам мира “**S** есть **p**”, то делаю это потому, что при данных обстоятельствах меня интересует бытие **S** в качестве **p**, безотносительно к его бытию в качестве **q** и **r**»⁷⁷. Иными словами, типические характеристики объекта есть всегда. Мы лишь отвлекаемся от них, чтобы сделать более явными

его специфические характеристики, но это не означает, что из-за своей «экстраординарности» объект перестает принадлежать к некоторому типу.

В какой мере то, что феноменологи пишут о восприятии объектов повседневного мира, справедливо для восприятия социальных событий? Ирвинг Гофман в «Анализе фреймов» показал, что феноменологическая логика вполне пригодна и для такого типа исследования. Если в фокусе нашего внимания остается та же напряженная граница между типическими и специфическими свойствами *S* (независимо от того, является ли *S* объектом «ирландский сеттер Ровер», рутинным событием «кормление ирландского сеттера Ровера» или экстраординарным событием «смерть ирландского сеттера Ровера»).

Типизация основывается на операциях рядоположения и мышления по аналогии: «это как ...». (Еще раз взглянем на первое описание вторжения марсиан — описание события до апроприации.) Именно поэтому типизация может позднее проявиться в нарративах о событии в виде его метафорического уподобления чему-то привычному. Однако более естественный для нее нарративный механизм — *метонимия*. Взгляд наблюдателя не просто «считывает» событие как «похожее на» другие, более привычные события. Он встраивает его в тот же класс, полагает его продолжением ряда «точно таких же» событий. Неслучайно сразу же после первых сообщений о мировом финансовом кризисе в российских СМИ появилась серия материалов, последовательно сравнивавших происходящее с дефолтом 98-го года, кризисом 91-го и — что особенно любопытно — с американской Великой депрессией. В каждом из описаний специфические свойства события оставались в тени типических свойств «финансового кризиса».

«Специфические свойства» события — это то, что сопротивляется операциям типизации. Представление их в качестве общетипических есть преодоление этого сопротивления. Ресурсом такого преодоления является здравый смысл как особая система релевантностей мира повседневности. Типизация позволяет увидеть даже самые неоднозначные и необычные события в перспективе здравого смысла, а значит — применить к ним устойчивую, многократно опробованную интерпретацию⁷⁸. Впрочем, этот шаг отсылает нас уже к другому эффекту.

3. *Эффект Талеба — эффект рационализации* плохо прогнозируемых и трудно описываемых событий. Начнем с примера. Сотрудники международных миссий ОБСЕ перед дислокацией обязаны заполнить ряд форм. (Степень бюрократизации наблюдательской практики исключительно велика и подобных форм может оказаться более двадцати.) Одна из форм — так называемая форма №5 или «Designation of beneficiaries form» — представляет собой завещание, но завещание крайне формализованное и написанное бюрократическим языком. Будущему наблюдателю предстоит подтвердить, что «...в случае его внезапной смерти в ходе миссии следующие лица (не более четырех) должны получить все деньги, причитающиеся ему от ОБСЕ, а также от страховой компании и специализированного “Provident Fund” ОБСЕ (если применимо); ему также надлежит оставить формальные инструкции, касающиеся распределения этих сумм в процентном соотношении между указанными лицами, проживающими по указанным адресам».

Формализация (заполняющему требуется лишь проставить имена, адреса, процент и подписаться) —

это нечто большее, чем простая формальность. Она позволяет легче представить себе событие собственной смерти, как подлежащее калькуляции и рациональному планированию. Заполняющий эту форму человек становится «менеджером в сфере собственной смерти», и чем меньше ресурсов воображения ему потребуется для ее заполнения, тем лучше. (Случаи отказа от участия в миссии в последний момент, на этапе заполнения завещания удивительно редки.) История завещаний и практик страхования жизни представит нам немало примеров эффекта Талеба.

Этот эффект раскрывает несколько новых направлений в анализе оповседневливания экстраординарных событий. Одна линия рассуждений вернет нас к ключевому для социологии начала XX в. вопросу: «Что всеобъемлющий процесс рационализации привнес в картину мира современного человека?». С этим вопросом тесно связан другой, центральный для экзистенциальной философии: «Как в результате научного расколдовывания мира изменилось понимание жизни и смерти?». Макс Вебер за ответами обращается ко Льву Толстому и приходит к выводу, что такое экстраординарное событие как событие собственной смерти заметно легче переживались досовременным человеком, который, живя в еще не расколдованном мире, легче мирился с существованием абсолютных событий⁷⁹. Другая же линия рассуждения позволит нам провести параллель с эффектом рационализации в психоанализе.

Для психоаналитика рационализация — один из нескольких фиксируемых в клинической практике защитных механизмов. Примером рационализации являются действия лисы из басни И. Крылова, отказывающейся от винограда, не потому что она не может его достать, а потому что он «зелен — ягоды

нет зрелой». Или поведение алкоголиков, находящихся рациональные основания регулярного употребления спиртного («Я когда трезвый за руль вообще не сажусь, потому что боюсь по этим дорогам ездить»). Важно, что психоаналитической рационализации всегда подвергаются события в прошлом; их последующее «оздравосмысливание» позволяет человеку не просто примириться с произошедшим, но представить его неизбежным, закономерным, логичным. Напротив, эффект Талеба, о котором говорим здесь мы, основан на рационализации будущего экстраординарного события, рационализации *in modo futuri exacti* — в будущем свершенном времени. Она совершается в воображении (точнее: в наблюдении и описании воображаемых событий). Такая темпоральная локализация отличает эффект Талеба от апроприации, совершающейся постфактум в описаниях нарраторов, и от типизации, всегда-уже-присутствующей в самом наблюдении.

Огрубляя, можно сказать, что эффект Керета-Стругацких — результат столкновения с экстраординарным событием в прошлом, эффект Ровера работает на устранение всякой «экстраординарности» событий настоящего, а эффект Талеба позволяет примириться с экстраординарными событиями будущего, сделав их предметом прогнозирования, калькуляции и проектирования.

4. *Эффект рутинизации (эффект Маккормика)* тоже обладает особой темпоральностью. Если рационализируем мы события в будущем свершенном времени («как если бы это уже произошло»), то рутинизация экстраординарного происходит в модусе *present indefinite*: «такое случается». Абсолютное событие утрачивает свой уникальный статус

вследствие регулярного повторения. Уникальное перестает быть уникальным, когда становится регулярным. Революции не происходят по вторникам, геноцид не совершается в каждый третий понедельник месяца, техногенные катастрофы не повторяются подобно падению Сизифова камня, и смерть для нас, в отличие от птицы Феникс, не обратима.

Уникальные события разрушают сложившиеся рутины. Теракт в метро ломает повседневный социальный порядок; взрыв в подземке страшнее авиакатастрофы еще и потому, что метро — вероятно, самый рутинный, повседневный вид транспорта. Но как происходит рутинизация, опривычивание самих уникальных событий? В результате их повторения. Повторение террористических атак заставляет воспринимать их как что-то, скорее, встроенное в социальный порядок, нежели противостоящее ему. (Отсюда черная израильская шутка: «Обедать лучше в той пиццерии, которую на этой неделе уже взрывали».)

В определенной перспективе эффект рутинизации является всего лишь разновидностью эффекта типизации (эффекта Ровера). Однако есть одно существенное различие, позволяющее выделить его в отдельный класс эффектов фреймирования экстраординарных событий. Типизация происходит всегда здесь-и-сейчас. Это моментальная когнитивная операция, укорененная в самом акте восприятия события как события определенного рода. Напротив, рутинность события — следствие его воспринимаемой регулярности, а не одной лишь типичности. Мы должны быть уверены в том, что происходящее здесь-и-сейчас — не просто «типичный случай» (кражи кошелька, потери ключей, автомобильной аварии), а случай, уже имевший место в недавнем прошлом и, скорее всего, обреченный на повторе-

ние: у меня *опять* украли кошелек, я *снова* потерял ключи и — *уже который раз* — поцарапал машину.

Именно поэтому мы предлагаем назвать эффект рутинизации в честь Кенни Маккормика — персонажа мультипликационного сериала «Южный парк», регулярно умирающего без причины, воскресающего без объяснений, открывшего нам новые грани проблематики абсурда трансцендентного в имманентном⁸⁰.

5. *Эффект профанации* не универсален. Он наблюдается только у определенного класса абсолютных событий — событий, имеющих сакральный статус. За чудесами угадываются технические декорации, за экстраординарными способностями — трюки, за мистическими совпадениями — случайность, за учредительными событиями — политические подтасовки. Смысл профанации выразил Александр Галич в песне о десакрализации имени Сталина: «Кум докушал огурец, и промолвил с мукою, оказался наш отец, не отцом, а сукою».

Любопытно, что десакрализующие события — события превращения сакрального в профанное — также могут впоследствии наделяться особым статусом. XX съезд (как пример такой операции) стал учредительным событием для нового социального порядка, поскольку сделал возможными принципиально иные наблюдения / описания.

6. *Эффект институционализации (эффект Кеворкяна)* также не универсален. За ним стоит попытка подчинить абсолютные события логике кодифицированных нормативных порядков — ритуалов, сценариев, законодательных актов. Для того чтобы убийство стало приемлемым, оно должно получить

статус «смертной казни». Легализация эвтаназии в Нидерландах, суд над доктором Кеворкяном⁸¹ в США, калифорнийский закон «О праве на смерть» (1977) и некоторые другие юридические прецеденты проливают свет на специфику институционализации абсолютных событий. Жесткая ритуальная структура похорон, видимо, призвана вернуть событие смерти из мира трансцендентного в мир социальный. Целая серия институтов работает на «блокирование» абсолютных событий. С помощью такой институциональной механики повседневность регенерируется, восстанавливается, заделывает те бреши, которые оставляет в ней абсолютное событие.

7. *Наконец, эффект детализации (или эффект Корбута-Гарфинкеля).* Он проявляется, прежде всего, в аналитических описаниях абсолютных событий — то есть в описаниях, разлагающих описываемое событие на нерядоположные ему элементы. Чтобы перестать видеть лес, нужно начать внимательно разглядывать деревья. (Именно это с успехом продемонстрировали теоретики практик после пятидесяти лет якобы «неаналитических» исследований повседневной жизни.) Чтобы авиакатастрофа перестала считываться как абсолютное событие, нужно дать ей детальное профессиональное аналитическое описание. Этим эффектом хорошо иллюстрируется тезис об атомарной природе событий. Он также позволяет понять, почему абсолютные события как единства особого рода крайне сложно «схватить» в языке строгого научного исследования, не нарушив требований академического жанра.

Этот список эффектов — лишь набросок возможных проявлений оповседневливания. Он не

претендует ни на аналитическую строгость, ни (тем более) на полноту. С его помощью мы обозначили горизонт тем, связанных с напряжением между интуициями абсолютного и повседневного в исследованиях социального мира. В заключение сформулируем несколько вопросов для дальнейшего осмысления.

Первый вопрос: каковы пределы оповседневливания и чем они задаются? Можно ли сказать, что абсолютные события наделяются особым статусом постфактум, вследствие работы сложной коммуникативной машинерии, фреймирующей происходящее для обобщенного массового наблюдателя? Существование эффектов оповседневливания опровергает подобное утверждение. Особый статус гарантирован этому классу событий не фабрикой интерпретаций, а их онтологией — тем, что, свершаясь, они меняют порядок потенциальных наблюдений и описаний (то есть само строение этой фабрики). После абсолютного события невозможно то, что было возможно раньше, а значит, не сообщество (как эксклюзивный дистрибьютор сакрального, уникального, трансцендентного) конструирует некоторые события в качестве абсолютных, но сами эти события делают возможным свое наблюдение сообществом. Все, что остается сообществу (если использовать этот термин для замещения несколько громоздкого концепта «частный социальный порядок, понятый как суверенный порядок наблюдений и описаний») — заполнять лакуны, подыскивать определения, предлагать описания, бороться за интерпретацию.

Другой вопрос: что существование абсолютных событий означает для нашего понимания смысла события? Смысл события мы определили через его

соответствие определенному фрейму, понятому как «ячейка» в когнитивной схеме наблюдателя. Таким образом, само понятие смысла основывается на возможности различения и квалификации; наблюдатель видит нечто, распознает это благодаря своей системе фреймов, квалифицирует это нечто как «событие X» и дает ему описание на языке того или иного социального порядка. Но абсолютные события выламываются и из этой схемы. Они превосходят имеющиеся у наблюдателя схемы различения. Они переопределяют самого наблюдателя. А значит то, что конституирует их как единства особого рода, плохо схватывается нашей теоретической схемой.

И, наконец, третий вопрос: что означает внимание к абсолютным событиям и их последующему оповседневливанию для социологических исследований повседневного мира? Прежде всего, признание того факта, что именно неповседневные, предельные события делают возможной привычную для нас архитектуру повседневности; что за сложившейся рутинной может стоять рутинизация, за рациональным обоснованием — рационализация, за общепринятым суждением — апроприация, за распространенным ритуалом — институционализация и т.п. Это признание само по себе не лишает суверенности мир повседневных действий, его не стоит расценивать как предложение поискать «подлинные» основания «псевдоестественных» событий. Оно лишь обозначает границы того, о чем можно говорить на языке социологии повседневности⁸².

Смерть, судьба и бессмертие

Итак, мы приходим к трем тезисам, которые понадобятся нам для дальнейшего анализа:

- Мир повседневности может быть понят не просто как область значений или действий, но как совокупность определенного рода событийных порядков (систем фреймов).
- В основании таких порядков могут находиться иные, неповседневные события — повседневность имеет «учрежденный» характер.
- Наконец, для каждого событийного порядка существует некоторый класс экстраординарных событий, которые уничтожают данную систему фреймов или приводят к ее необратимым изменениям.

Последний тезис — это своего рода версия «теоремы Геделя» о неполноте систем фреймов. Есть абсолютные события, но нет абсолютных событийных порядков. Нет такого «шаблона», который нельзя было бы «сломать».

Здесь необходимо сделать два пояснения.

Слово «порядок» само по себе крайне двусмысленно. С одной стороны, речь идет о порядке-как-связи. Одни события связаны с другими и не связаны с третьими. Имеем ли мы в виду некоторый «локальный порядок» (столь любимый теоретиками практик), не нами установленный порядок норм и санкций, порядок ритуала или некоторый спонтанный порядок социальной жизни — мы говорим о связи. Событие «х» связано с событием «у». Как именно связано — отдельный вопрос. Мы вправе усматривать в этой связи причинность

(«если x , то y ») или ограничиться констатацией соположения событий в пространстве и времени, но сам факт их *избирательной связности* не ставится под сомнение.

С другой стороны, любой порядок — это всегда один из возможных порядков. А значит, событие взаимодействия « x » принадлежит некоторому множеству событий « X ». (Этому же множеству может принадлежать и связанное с событием « x » событие « y » — тогда речь идет о связанных однопорядковых событиях, или, как мы будем говорить далее, о «серии событий в одном фрейме».) Итак, вторая значимая для нас интуиция — интуиция порядка-как-*множества*. Именно она лежит в основании теории фреймов с того момента, как Грегори Бейтсон — на примере игровой коммуникации животных — использовал аналогию границы множества для введения самого понятия «фрейм»⁸³.

Впрочем, асимметричность двух интуиций порядка не стоит переоценивать. Говоря о «фреймированных взаимодействиях», классики микросоциологии имели в виду оба значения — элементы интеракции связаны между собой и, вместе с тем, принадлежат некоторому множеству. Это взаимосвязанные свойства порядка.

Ирвинг Гофман, обращавшийся к понятию порядка взаимодействия и в своей докторской диссертации, и в предсмертном президентском послании, сформулировал данный тезис следующим образом: «...я хочу суммировать доводы в пользу рассмотрения порядка взаимодействия в качестве самостоятельной содержательной области. Вообще говоря, обоснованием такого “вырезания” одного участка социальной жизни должно служить обоснование любого аналитического извлечения: то,

что элементы, образующие порядок, связаны друг с другом теснее, чем с элементами вне этого порядка; что отношения между порядками составляют важный самостоятельный предмет исследования, которое предполагает, прежде всего, разграничение нескольких социальных порядков...»⁸⁴. Таким образом, исследование связи между событиями «х» и «у» — лишь часть проблемы. Требуется также установить отношение между разными событийными порядками («Х» и «Z»). К примеру, события взаимодействий на лекции сцеплены между собой сильнее, чем взаимодействия на лекции с взаимодействиями на перерыве: «лекция» и «перерыв» — разные, но примыкающие друг к другу во времени порядки интеракции. Тогда как события в «лекции» и в «студенческой пародии на лекцию» связаны друг с другом некоторым семиотическим образом (механизм транспонирования), но принадлежат разным слоям реальности («лекция» и «игра в лекцию»). Об этом — по сути, вся теория фреймов Гофмана.

Но как быть с описанными в предыдущей главе экстраординарными, перформативными событиями, разрушающими событийные связи, делающими невозможным дальнейшее восприятие событий именно таким образом?

Теория социальных событий исходит из допущения об атомарном, элементарном характере социального мира. Атомом социальной жизни является событие — свершение в пространстве и времени, соотносимое с актом наблюдения единство⁸⁵. К примеру, в месте Х в момент Y собираются представители чего-то, называемого «академическим сообществом» и заслушивают выступление недавнего аспиранта о проделанном им исследовании. Если это событие сопровождается соответствующими

атрибутами (часть из которых носит ритуальный характер), наблюдатель может квалифицировать его как «защиту кандидатской диссертации». Наблюдаемые атрибуты события играют роль считываемых маркеров — они дают наблюдателю ответ на вопрос «Что здесь происходит?»⁸⁶. Событие защиты является уникальным для соискателя и вполне рутинным для академического социального порядка.

Таким образом, в логике исследований событийности центральное место отведено наблюдателю — он производит наблюдение, различает нечто в качестве события, дает этому событию именование и квалификацию. Именуя, наблюдатель пользуется языком определенного социального порядка — он помещает наблюдаемое событие в одну из ячеек системы различений.

Сама механика различения, именования и квалификации предполагает, что наблюдатель «вырезает» событие, придает ему определенность, пользуясь некоторым лекалом смысла. Именно поэтому событие не имеет длительности, оно моментально — смысл не может иметь протяженности во времени или пространстве. Наблюдатель события говорит: «Это — защита диссертации», конституируя увиденное как «защиту» своими операциями различения и именования. Далее возможны варианты: наблюдатели разойдутся в своих квалификациях («Это не защита, а форменный бардак!»), может возникнуть борьба за право номинации и объяснения («Подобный бардак — следствие продолжительной деградации Академии Наук»), могут быть оспорены сами критерии различения («Когда в зале треть совета, а в протоколе — все положенные по форме подписи, это называется фальсификация, а не защита»). Однако все вовлеченные наблюдатели

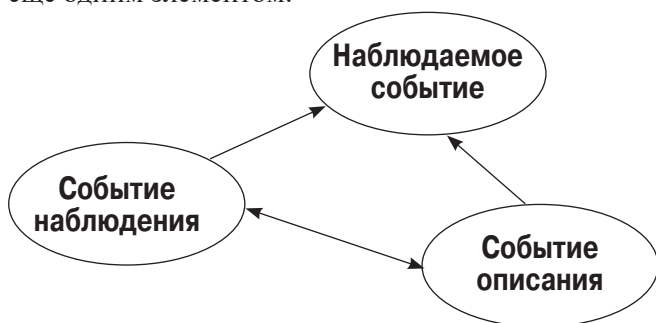
совершают акты различения, именования, квалификации, тематизации, которые могут быть, а могут и не быть, коррелятивны друг другу.

Следующий ход, предлагаемый нам теорией социальных событий, достоин особого внимания. Наблюдатель, конечно, живой человек, из плоти и крови. Он находится в пространстве и живет во времени. Однако *совершаемые им операции различения — сами являются событиями*. Они могут быть представлены в качестве таковых наблюдателем второго порядка («Я видел, как он всю защиту сидел в углу, смотрел, делал записи, фотографировал и всеми средствами готовился оспорить легитимность нашего суверенного академического порядка»). Этот ход может показаться парадоксальным: «поскольку наблюдение мы также считаем событием, то обнаруживается парадоксальность события, взятого в двух аспектах: наблюдения и наблюдаемого»⁸⁷. Впрочем, если отвлечься от фигуры наблюдателя, как «живого человека» со своими слабостями, интересами и мотивами, мы легко избежим парадокса. Событие наблюдения коррелятивно наблюдаемому событию, поскольку конституирует его:



Нет событий без наблюдений. Нет наблюдений без систем фреймов. Событие первый раз конституируется в наблюдении (когда наблюдатель применяет к нему определенный фрейм), но затем оно конституируется повторно — в *описании*. Чтобы транслировать свою квалификацию события в ком-

муникацию наблюдатель должен перевести ее на язык того социального порядка, в котором эта коммуникация разворачивается. Описав, например, событие защиты как «нарушение формальной процедуры», «пренебрежение нормами академического сообщества» или «профанацию научного ритуала». Эта трансляция дополняет конститутивную связь «событие наблюдения — наблюдаемое событие» еще одним элементом.



Если наблюдаемое событие — это атом социальной жизни, то связка наблюдаемого события с событиями наблюдения и описания — это ее «молекула», устойчивый инвариант, имеющий место в самых разных социальных порядках. Отношения событий наблюдения и описания с наблюдаемым событием носят конститутивный характер. Таков процесс создания события в актах различения, именованя, квалификации, а затем — в коммуникативном акте повествования. Отношения событий наблюдения и описания двусторонни. Наблюдение структурировано системами фреймов. Аналогичным образом описание структурировано фреймовыми категориями того языка, на котором оно дается. Наблюдение и описание — суть две импли-

кации применяемых к данному событию систем фреймов. Введение фигуры наблюдателя второго порядка позволяет рассмотреть события наблюдения и события описания как наблюдаемые события, которым коррелятивны свои события наблюдения и описания. *Et cetera*.

Не будем сейчас уходить в различение «настоящих» и «ненастоящих» событий. Нас не интересует, было ли событие «на самом деле» или наблюдатель конституировал его сразу же в повествовании (попросту, соврал). Нас также пока не будет интересовать проблема «ложного наблюдения» — грез и иллюзий. Галлюцинации, сновидения, театральные представления, художественные тексты и игры стоит рассматривать как фрагменты социальной жизни со своим событийным строением. Событие не перестает быть наблюдаемым событием и от того, что имело место не в физическом пространстве-времени, а в воображенном наблюдателем мире. Об этом — классическая работа А. Шюца о множественности реальностей и вся проблематика симметричных процессов памяти / воображения в социальных науках. Лишь благодаря тому, что мы можем наблюдать еще не произошедшие события, проигрывая их в воображении, возможно предвосхищение и предсказание.

Описанная теоретическая схема в полной мере заражена первородным грехом социологии — релятивизмом. Событие не является чем-то «самим по себе», его онтологический статус крайне сомнителен. Событие — это событие-в-наблюдении-и-описании. Как наблюдатель его «вырезал», как квалифицировал, как описал, какой «квант смысла» ему присвоил, таким оно и будет. Можно, конечно, сказать, что идентифицировать нечто как событие X легко, а как событие Y уже сложнее (назвать фаль-

сификацию на защите можно и «фальсификацией», и «защитой», но ее трудно назвать «символом научной рациональности» или «торжеством справедливости»). То есть различаемая наблюдателем ткань социальной жизни больше похожа на мрамор, чем на ткань — он не просто «вырезает» из нее события по лекалу фрейма, он высекает фигуру из сопротивляющегося материала; прожилки в мраморе облегчают различение одних событий и осложняют идентификацию других. Но это, пожалуй, все, что есть в данной схеме от онтологической проблематики. Произвол наблюдателя ограничен дважды: языком наблюдения / описания («трафаретом фрейма», «лекалом смысла») и онтологическим сопротивлением материала («прожилками в мраморе»). Тем не менее, из приведенного описания видно, что ограничения эти не симметричны — онтология играет гораздо меньшую роль. И если бы не один особый класс событий, то можно было бы говорить о тотальной диктатуре фреймов, систем различения, языков описания, которые делают «видимыми» одни события и «невидимыми» другие. Это события разрушения систем фреймов — события, после которых повседневным событийным порядкам приходится «латать дыры», заделывать бреши или уступать место другим «шаблонам», более устойчивым.

Среди таких событий особое место занимает событие смерти наблюдателя. Если для Альфреда Шюца (который мыслит повседневность как регион опыта) противоположностью мира повседневности является мир сновидения, то для Ирвинга Гофмана (который переосмысливает повседневные взаимодействия как особого рода событийные порядки) антонимом социологии повседневности была бы социология смерти.

Но как мыслить смерть на языке социологии? Мы можем сколько угодно описывать социальные эффекты устранения ее последствий, механику «оповседневливания смерти»⁸⁸ — собственно, это мы и делали в предыдущей главе — но как помыслить само это событие?

Как ни странно, ресурсы для такого анализа мы находим не у современных теоретиков, а у непосредственного предшественника социологии повседневности — Георга Зиммеля. В тексте «Смерть и бессмертие» он предлагает нам исключительно любопытную модель мышления.

Его первый ход таков: «Большинству людей смерть представляется смутным пророчеством, парящим над их жизнью и лишь в момент своего осуществления как-то связанным с ней подобно тому, как над жизнью Эдипа витало пророчество, что он когда-нибудь убьет своего отца. В действительности же смерть с самого начала изнутри связана с жизнью»⁸⁹. Что значит «изнутри связана»? Зиммель запрещает нам мыслить смерть как что-то внешнее по отношению к жизни. Она не является какой-то самостоятельной сущностью, нет никаких своевольных богинь судьбы, которые бы в определенный момент просто перерезали бы нить вашей жизни. Каждая жизнь в каждом своем моменте уже содержит смерть — старая и довольно банальная идея: «жить значит умирать».

Но вот он делает следующий ход: смерть — это *формообразующий* момент жизни. Как это понимать? Возможно, наша жизнь приобретает некоторое единство — подчеркнем, логическое, консистентное единство — только в момент смерти. Гештальт закрывается. Логика приходит в биогра-

фию *post mortem*. Как напишет в своем дневнике Витгенштейн: «После смерти человека мы воспринимаем его жизнь в умиротворяющем свете. Жизнь умершего кажется нам сглаженной, словно мы видим ее сквозь Дымку. Для него же она была не гладкой, но полной острых углов и несовершенной. Этой сглаженности для него не существовало; жизнь была неприкрашенна и жалка»⁹⁰.

Однако здесь появляется важное различие: любая ли смерть является формообразующим моментом? Нет, говорит Зиммель: «Некоторые <...> умирают потому, что жизнь случайно кончилась; смерть не являет собой границу, положенную их внутренним жизненным процессом; это — те люди, жизнь которых вообще не имеет формы в высшем смысле <...>. Здесь речь идет, собственно говоря, о различии между смертью и убийством»⁹¹.

То есть убийство как «внешняя смерть» отличается от «внутренней смерти» тем, что не закрывает гештальт, не придает жизни завершенность — к нему как раз применима метафора «перерезания нити»? Получается, жизнь априорно неконсистентна — придать ей форму может только смерть, но не любая, а лишь та, что «положена изнутри жизни»? Здесь появляется первая развилка. Либо мы принимаем эту интерпретацию на основе процитированного фрагмента (и исследуем текст абзац за абзацем, чтобы понять, что нам дает и к чему обязывает такое решение), либо ищем альтернативную интерпретацию.

Возражения против приведенной трактовки очевидны. Понятие «формы» у Зиммеля — это остаток неокантианского категориального аппарата. Можно провести прямую аналогию между зиммелевскими формами и гофмановскими системами

фреймов. Форма предполагает некоторое *внутреннее* единство (в данном случае внутреннее единство жизни). Именно поэтому Зиммель против абсолютизации момента смерти — смерть уже есть в каждом моменте жизни. По Зиммелю нельзя сказать: жизнь — это процесс, смерть — это момент. Но это противоречит сказанному нами выше: логика не приходит в биографию *post mortem*. Дальше. Как быть с солдатом, убитым на войне? Это не просто смерть, а гибель — в предложенном выше различении. Значит, его смерть случайна? То есть она не закрывает гештальт, не является формообразующим моментом? Нет разницы между гибелью солдата и гибелью мирных жителей? Как тогда быть с введенным Зиммелем критерием случайности?

Обратившись к тексту и исследовав две альтернативные трактовки, мы скоро вынуждены будем сделать выбор в пользу третьей интерпретации. Форма жизни не пуста. Она наполнена тем, что Зиммель называет жизненными интенциями. Это событийная логика жизни — тот доминирующий экзистенциальный стиль, который придает событиям биографии внутреннее единство еще до смерти. Ключевая характеристика этой логики — интенциональность. По ту сторону интенциональных событий вашей жизни лежат иные события — случайные или каузально связанные. Что находится на стыке жизненной интенции и каузальности «внешних» событий? Здесь у Зиммеля появляется категория судьбы: «Можно говорить о *пороге* судьбы, о количестве значительных событий, начиная с которого они благоприятствуют или препятствуют идее нашей жизни. Встреча со знакомым на улице остается в сфере случайности; даже в том случае, если мы собирались ему написать и случайность стано-

вится вследствие этого “удивительной”, т.е. получает оттенок осмысленности. Однако это все-таки переходит в случайность, не вступая в связь с окончательной определенностью жизни. Но если эта встреча в результате связанных с ней последствий становится отправным пунктом глубоких изменений жизни, она называется в обычном словоупотреблении велением судьбы и рассматривается как совершенно новая категория: теперь чисто периферическое событие по своей позитивной или негативной телеологии принадлежит единству и смыслу индивидуальной жизни, интегрируя их. Там, где мы говорим о чисто внутренней судьбе, само Я соответственно разделилось на субъект и объект. Подобно тому, как мы для себя — объект познания, мы для себя и объект переживания. Как только наше чувство, мышление, воление подводится для нас под категорию “события”, наша текущая, субъективная, центральная жизнь ощущает это как воздействие содержаний внешнего мира; мы называем это воздействие в пределах замкнутого объема всей нашей личности судьбой <...>»⁹².

Впрочем, с судьбой все не столь очевидно. Тут более двух интерпретаций и каждая нуждается в прояснении, прослеживании, столкновении с иными опциями. Наиболее правдоподобная трактовка такова: судьба — это *оператор селекции*. То есть то, что отбирает «внешние», объективные события, размещенные в историческом времени, и делает их событиями вашей жизни, переносит их в иную, экзистенциальную темпоральность. Поэтому солдат не может умереть на «чужой войне». К моменту смерти это уже «его» война. Самоубийство Жюль Делеза — продолжение логики его письма. Гибель солдата — продолжение его образа жизни. Именно

в этом (и только в этом) контексте можно говорить о смерти не как о драме, а как о трагедии: «Трагедия позволяет нам чувствовать, что случайное именно в своей глубочайшей основе есть необходимое. Несомненно, что герой трагедии погибает от столкновения между внешними для него данностями и его собственной жизненной интенцией; однако то, что это происходит, глубоко предначертано именно ею — в противном случае его гибель была бы не трагическим, а лишь печальным происшествием»⁹³.

Категория судьбы, как *оператора неслучайности случайного* вообще очень важна для ранней немецкой социологии. Но у Зиммеля появляется еще одна опция. Зиммель говорит о судьбе именно как о категории в кантовском смысле, то есть о чем-то, что стоит между имманентным и трансцендентным (раз) и о том, что придает форму, правда, не чувственным данным, а событиям (два). Можно пройти в эту сторону еще несколько шагов и посмотреть, что нам дает такой ход (прочтение Зиммеля через Канта). Но мы не станем этого делать. Мы шагнем дальше по пути выбранной логики — триада «интенция / судьба / история» — и упрямся в противоречие. Потому что дальше Зиммель пишет о бессмертии. О том, что выходит за пределы жизни. И говорит о бессмертии двух типов: бессмертии лягушки (каждая лягушка по-своему жива до тех пор, пока жив лягушачий род в целом) и бессмертии Гёте. Первое бессмертие он выносит за скобки. Второе бессмертие — это превращение событий частной повседневной жизни отдельных индивидов в события исторические. То есть бессмертие (в противоположность судьбе) — это оператор обратной селекции: фрагменты вашей биографии отчуждаются от событийной логики вашей жизни и приобретают статус «объективных», «исто-

рических» событий. *Бессмертие — это антисудьба.* «Страдания юного Вертера» провоцируют волну самоубийств. Бессмертие Гете (его жизненная интенция отчуждается в романе) становится судьбой его читателей (внешнее по отношению к их жизни событие самоубийства главного героя апроприируется их жизненной интенцией).

Зиммелевские работы заставляют нас задать вопрос, который мы побоялись ставить ранее. Могут ли транспонироваться абсолютные события? Образуется ли экстраординарные происшествия свой собственный событийный (мета-)порядок? При каких обстоятельствах обычное повседневное событие (несколько друзей встретились в кафе обсудить интересующий их философский вопрос) вдруг отчуждается от непосредственного контекста своего свершения здесь-и-сейчас и становится событием историческим («...так родился Венский кружок»)? И, наоборот, при каких обстоятельствах историческое событие апроприируется, становится частью событийного порядка человеческой жизни?

Категории «судьбы» и «бессмертия» у Зиммеля куда более социологичны, чем это кажется на первый взгляд. Они указывают на два предельных механизма транспонирования, переноса события из «исторических» событийных порядков в «повседневные» и обратно. И тогда смерть уже не выступает предельным, абсолютным событием (как допускает концепция социальных событий) — она потому лишь и называется смертью, что сцеплена с иными событиями жизни наблюдателя, то есть является частью событийного порядка его жизни.

Здесь самое время вернуться к исходному вопросу об отношении различных событийных порядков.

«Дело о стихийных бедствиях»

Второго мая 2008 г. на Мьянму обрушился циклон «Наргис», унесший жизни около 138 тысяч человек и оставивший в бедственном положении еще около двух миллионов. Страны ООН тут же предложили свою помощь пострадавшему государству, но авторитарное военное правительство (находящееся у власти в Мьянме почти столетия) отказалось от «любых форм иностранного вмешательства». Генералиссимус Тан Шве, возглавляющий правящую группу военных, просто не ответил на звонки генерального секретаря ООН и закрыл границы страны. Самолетам с гуманитарными грузами была запрещена посадка в аэропортах Мьянмы⁹⁴.

Разразившийся международный скандал привел к неожиданным юридическим последствиям. Дело в том, что в 2005 г. на саммите ООН был подписан документ, по которому страны-участницы берут на себя «ответственность по защите». По сути, этот документ дает право ООН (как надгосударственному образованию) на вмешательство в дела суверенных государств при чрезвычайных обстоятельствах. К таковым относятся, прежде всего, угроза геноцида, массовые этнические чистки и разрушительные вооруженные конфликты. Но уже через одиннадцать дней после стихийного бедствия в Мьянме Дэвид Милибэнд, на тот момент занимающий пост министра иностранных дел Великобритании, заявил о необходимости распространить «ответственность по защите» на ситуацию стихийных бедствий. Аналогичную позицию высказал и его французский

коллега Бернар Кушнер⁹⁵. Мадлен Олбрайт сформулировала это предложение еще более жестко: если руководство страны не справляется с последствиями стихийного бедствия и умышленным образом противодействует помощи своему населению со стороны международного сообщества, то речь должна идти не столько о борьбе со стихией, сколько о десоверенизации и «принудительной помощи ради спасения жизней»⁹⁶. То есть государство, не справляющееся со своими функциями, не имеет права на суверенитет.

В Организации Объединенных Наций очень быстро осознали, к каким последствиям может привести подобное решение. Особенно после того как представитель Китая при ООН заметил, что тогда под действие этого нового (расширенного) прочтения «ответственности по защите» должна была бы попасть и Франция, где летом 2003-го в результате аномально высокой температуры было зафиксировано рекордное количество смертей от гипертермии⁹⁷. Руководство Республики тогда не смогло обеспечить надлежащих мер по спасению людей и, если подобная ситуация повторится, а понятие «ответственности по защите» будет расширено, Китай готов принять участие в интервенции ООН во Францию. Впрочем, генералиссимус Тан Шве под угрозой военного вмешательства вскоре пошел на уступки и пропустил в Мьянму транспорт с международной гуманитарной помощью, а статус «ответственности по защите» так и остался непроясненным.

Обратим внимание на один любопытный аспект этого прецедента, не имеющий значения для юридических споров, но значимый для нас в свете предшествующего рассуждения. Есть определенная гомология, избирательное сродство двух событий — циклона «Наргис» и (потенциального) вмешательства

ства ООН в дела Мьянмы. И в том, и в другом случае мы имеем дело с перформативным, экстраординарным событием, разрушающим «привычный порядок вещей». И стихийное бедствие (которое Б. Вальденфельс относит к числу «проявлений трансцендентного в повседневном»), и «принудительная помощь» взрывают некоторый событийный порядок, который до определенного момента мыслится как суверенный. Ранее мы использовали метафорику «пробоя диэлектрика» — абсолютного события — применительно к происшествиям такого рода. Но правильнее было бы говорить о них как о событиях *интервенции одного событийного порядка в другой*.

Одна из самых сильных импликаций «джеймсовской проблемы» — представление о мире как о совокупности упорядоченных по собственным основаниям суверенных (но структурно подобных друг другу) реальностях — подмирах или субуниверсумах. Определение Джеймса двусмысленно: ведь субуниверсумы — это одновременно и реально существующие фрагменты мира, и характеристики его, мира, восприятия. Шюц пытается исправить джеймсовскую двусмысленность: «Мы говорим об областях смысла, а не о субуниверсумах потому, что именно смысл нашего опыта, а не онтологическая структура объектов конституирует реальность»⁹⁸. Шюцевское решение антиметафизично: все, больше никаких «онтологических регионов», только разные конечные области смысла, разные сферы опыта, упорядоченные на континууме от повседневности до сновидения. Мы видели, что в своей попытке «поправить» Джеймса Шюц сохраняет обе его аксиомы (хотя и переставляет акцент с одной на другую) — среди всего множества реальностей есть одна, верховная, и сами эти реальности замкнуты

(скорее, суверенны, чем автономны); но структурное подобие миров отходит на второй план.

Следующий ход в этой теоретической партии за Ирвингом Гофманом. Он отказался от обеих аксиом Джеймса-Шюца, однако неожиданно вернул в теоретическую игру джеймсовскую двусмысленность. Хотя миры больше не замкнуты и повседневность среди них больше не является верховной реальностью, системы фреймов (гофмановский аналог джеймсовских «субуниверсумов» и шюцевских «конечных областей смысла») представляют собой одновременно и когнитивные схемы интерпретации мира, и матрицы возможных событий. То есть, всякий раз произнося слово «фрейм», мы подписываемся под этой двойственностью, имея в виду одновременно и некоторую «ячейку системы различений» в языке наблюдателя, и «структуру самого мира» (пользуясь выражением Леви-Стросса). Гофман попытался решить возникающую здесь проблему своим знаменитым тезисом об изоморфизме — структуры мира и структуры его восприятия гомологичны: «Мы принимаем соответствие или изоморфизм восприятия структуре воспринимаемого несмотря на то, что существует множество принципов организации реальности, которые могли бы отражаться, но не отражаются в восприятии. Поскольку в нашем обществе многие находят это утверждение полезным, к ним присоединяюсь и я»⁹⁹.

Впрочем, такое решение показалось неудовлетворительным и тем, кто хотел изучать когнитивные решетки (Э. Зерубавель), и тем, кто ратовал за исследование онтологических структур (Б. Латур). Заметим, однако, что этот двусмысленный ход позволил Гофману переопределить повседневный мир как именно событийный порядок — порядок взаимодействия. (Мы ухватились за гофмановское решение, когда заговари-

ли об экстраординарных перформативных событиях и противопоставили социологию смерти социологии повседневности.) Благодаря гофмановскому решению мы сегодня можем помыслить джеймсовские субуниверсумы не просто как разные онтологические регионы, но как *операционно замкнутые событийные порядки, упорядоченные по собственным основаниям*. Повседневный мир — один из таких порядков (пусть уже не верховный и даже не вполне суверенный).

Можно предложить простой тест на операционную замкнутость событийного порядка. Если вы можете себе представить колонну людей с транспарантами «Оставьте X в покое!», «Руки прочь от X!», «X — не Y!» — значит, данный порядок может претендовать на самореферентность и автономию от иных порядков. Как ни странно, обнаружить это свойство событийных порядков легче всего в ситуации покушения на их суверенитет.

Однако тут же возникает новая проблема: как быть с событийными порядками не просто «внеповседневными», но по самой своей организации противопоставленными повседневности?

В 2008—2013 гг. центральный район Перми усилиями московских и питерских художников стал плацдармом арт-интервенции в повседневную жизнь горожан. В один летний день пермяки обнаружили напротив здания ГУВД фигуру «робокопа», собранную из автомобильных карбюраторов, а рядом с музеем современного искусства (в недавнем прошлом — речным вокзалом) зеленую «BMW» с тонированными стеклами, художественно расстрелянную из автомата Калашникова. Надпись на табличке гласила: «Памятник 1990-ым. Инкрустирован перфорацией». Повседневные маршруты горожан теперь пересекались с обозначенной зеленой линией «туристической

тропой», а на крышах полуразрушенных сталинских зданий восседали абстрактные «красные человечки». Идея превратить центр города в гибрид музейного зала и игровой площадки встретила ограниченное понимание у местного населения. Некоторые экспонаты тут же подверглись народному рефреймингу, а один («Ротонда» архитектора Бродского) дважды пытались взорвать. Впрочем, такая реакция публики — наиболее желанная для художников. Заминировать экспонат — значит признать его чуждость и инородность рутинному повседневному порядку. Попытка подрыва арт-объекта — лучшее свидетельство того, что пласт рутины был им взорван; высшая оценка перформативности произведения.

Заметим, однако, что арт-интервенция — это не вполне «пробой диэлектрика», поскольку само событие вторжения неповседневного в повседневное здесь не является чем-то аналогичным стихийному бедствию или вальденфельсовскому «явлению трансцендентного в имманентном». Акция художника как событие особого рода подчинена логике иного событийного порядка (чаще всего обобщенно именуемого «миром искусства»). Сама акция, будучи перформативным событием для порядка повседневности, вовсе не трансформирует свой собственный событийный порядок (т.е. мало что меняет в логике современной арт-событийности) — это экстраординарное событие только по отношению к порядку городской повседневности.

Мы будем называть онтологической интервенцией любое асимметричное столкновение событийных порядков. В результате интервенции одна система фреймов начинает «переупорядочивать» элементы другой системы фреймов, подчиняя их собственной логике. Когда в городе объявляется чрезвычайное положение,

порядок повседневных взаимодействий организуется на неповседневных началах. Когда события экономических транзакций связываются друг с другом в логике «политических интересов», мы уже не можем говорить об экономике как о реальности особого рода. Когда логика повседневности — называемая зачастую «здравым смыслом» — начинает доминировать в мире научной теории, теория перестает быть научной. И когда события сновидения вдруг обретают реальность в мире повседневной жизни, это уже не повседневная жизнь. Всякая онтологическая интервенция (будучи асимметричной по своей структуре) лишает один из двух порядков суверенитета и права на самозаконность. То, что Гофман принимает за естественное положение вещей — пронизуемость и незамкнутость онтологических регионов, — в действительности является результатом столкновений и кровопролитной борьбы разных событийных порядков. Но у этого эффекта есть и обратная сторона. Следствием успешной интервенции оказывается рядоположение («симметризация») двух сталкивающихся систем фреймов. Если арт-интервенция успешна — она уже не имеет отношения к искусству. Политическая логика, структурирующая экономические транзакции, оказывается экономической логикой. ООН, принимающая решение об интервенции в Мьянму, сама становится немого Мьянмой.

В июле 1988 г. в йеллоустонском национальном парке началась широкомасштабная операция по тушению самого крупного за историю парка пожара. Из-за продолжительной засухи и сильного ветра восемь очагов возгорания объединились в один протяженный огненный фронт. Несмотря на небывалый масштаб операции (10 тыс. пожарных, около 120 млн. долларов) ее результаты не впечатляли —

руководство парка не смогло своевременно взять под контроль стихию, жителей соседних городков в Монтане и Вайоминге пришлось эвакуировать, а к концу лета сгорело уже около 600 тыс. гектаров леса. Пожар погас благодаря первому осеннему снегу, нанеся непоправимый ущерб всей экологической системе парка.

История, которую йеллоустонские рейнджеры рассказывают новобранцам, такова. Во всех должностных инструкциях сотрудников парка прописана фундаментальная максима, в общих чертах повторяющая тезис Адама Смита: «Оставь в покое!». Территория Йеллоустона фреймирована в языке руководства парка как гигантская самореферентная система — ликвидировать нужно только последствия действий людей, биогеоценоз отрегулирует себя сам. Когда обнаруживается возгорание, первая задача службы экологического мониторинга — понять его причину. Если причина определяется как «естественная», то пожару нужно дать разгореться и погаснуть. Потому что пожар — явление благотворное и необходимое для саморегуляции всей экосистемы. Восемь первых очагов возгорания были идентифицированы как «не являющиеся результатом человеческих действий». Когда все они объединились в огненный фронт, и руководство осознало масштаб катастрофы, было уже поздно. Для планирования операции потребовался пересмотр аксиоматических допущений, на которых строилась вся система управления парком (на смену экологическому «либерализму» пришло экологическое «кейнсианство»).

Первое, что бросится в глаза исследователю, решившему погрузиться в историю йеллоустонского прецедента, — удивительная симметрия в «действиях леса» и «действиях менеджмента». Однако

мы не будем сейчас эксплуатировать этот сюжет, ставший классикой ранних кибернетических исследований. Нас интересует другое: каковы теоретические ресурсы мышления о столкновении двух событийных порядков — «естественного» порядка пожара и «искусственного» порядка его тушения.

В недавней книге Эдуардо Кона «Как мыслят леса. К антропологии по ту сторону человеческого»¹⁰⁰ была сделана очередная попытка подвести «мышление ученых», «мышление лесников» и «мышление леса» под общий знаменатель теории семиозиса. Каждая из этих систем производит свои собственные значения, каждая из них может «считывать» и «принимать во внимание» существование других систем. Как замечает в своей рецензии на книгу Кона Брюно Латур, мы всегда вольны сменить отправную точку и принять в качестве исходных «допущения» самого леса. Но как мыслить интервенцию одного порядка в другой? Если мы — вслед за Латуром и Коном — допустим, что событийные порядки не замкнуты и не самореферентны, а всегда «открыты друг другу», то никак.

Одну из возможных стратегий мышления предлагает теория фреймов И. Гофмана. Мы помним, что системы фреймов должны мыслиться и как матрицы самих событий, и как схемы их интерпретации наблюдателем. При этом Гофман первым делом различает природные и социальные системы фреймов: «Природные системы фреймов определяют события как ненаправленные, бесцельные, неодушевленные, неуправляемые — “чисто физические” <...>. Здесь царят детерминизм и предопределенность... Социальные фреймы, напротив, обеспечивают фоновое понимание событий, в которых участвуют воля, целеполагание и разумность — живая деятельность,

воплощением которой является человек»¹⁰¹. Само это различие уже предполагает наблюдателя. Но значит ли это, что оно применимо исключительно к той части гофмановской дефиниции, которая говорит о схемах интерпретации? Или мы можем распространить ее на сами событийные порядки? Потому что если принцип изоморфизма работает не только в социальном мире, мы вправе говорить об онтологическом фреймировании и несоциальных событий. Событие пожара связано с другими событиями йеллоустонского биогеоценоза отнюдь не только произволом наблюдателя. Но даже при таком допущении язык гофмановской теории не позволяет нам мыслить вторжение одной системы фреймов в другую.

Иная теоретическая стратегия была предложена акторно-сетевой теорией. Анализируя предпринятое Аннмари Мол исследование «онтологических политик» производства атеросклероза, Джон Ло (в работе с интригующим названием «О множественных мирах») предлагает использовать термин «вложение» (inclusion) для характеристики отношений разных практических порядков¹⁰². Событийный порядок биогеоценоза может быть «вложен» в событийный порядок Йеллоустонского менеджмента. Это не означает, что каждое событие природного порядка является также и событием порядка менеджмента. Напротив, менеджмент сохраняет свою эффективность (и свой суверенитет) лишь до тех пор, пока большая часть событий природного порядка остаются для него неразличимыми. Но в какой-то момент черный ящик заповедника перестает быть черным ящиком. И тогда события «природные» уже не являются только «природными» событиями.

Наш интерес к стихийным бедствиям связан именно с этой — возникающей при столкновении двух со-

бытийных порядков — проблематизацией границы «природного» и «социального». В момент пожара уже нет «естественных биологических процессов» и «эффективных управленческих решений» — и те, и другие становятся элементами общего, находящегося в становлении событийного порядка. Интервенция ООН в Мьянму — продолжение интервенции циклона «Наргис» в социальную жизнь региона. (Перефразируя Гофмана, мы могли бы сказать, что *интервенциям в большей степени подвержены те событийные порядки, которые уже пережили интервенцию.*) Ровно с этим же связан интерес Георга Зиммеля к руинам — маргинальным объектам, чье существование подчинено одновременно двум логикам: социальной «логике духа» и природной «логике распада»¹⁰³.

Но вернемся к социологии повседневности.

Транспонирование и интервенция — две альтернативные (хотя и не взаимоисключающие) модели мышления об отношении событийных порядков. Транспонирование предполагает, что сами фреймовые системы остаются неизменными, трансформируется лишь событие, переносимое из одной «тональности» в другую. (Гофману сложно представить такую мелодию, которая сломала бы саму тональность.) Напротив, интервенция предполагает, что событие, не принадлежащее данному событийному порядку, преобразует событийные связи внутри этого порядка, ре-организуя его элементы согласно логике иной системы фреймов. При этом само событие интервенции может быть как элементом системы-интервента, так и экстраординарным событием для обеих систем (то есть не принадлежать ни одному из вступающих во взаимодействие операционно замкнутых событийных порядков).

Можно ли разработать для теории интервенций такую же детальную классификацию «стратегий» и «тактик» преобразования одних событийных порядков в другие, какую Ирвинг Гофман разработал для теории транспонирования? Причем «стратегий» и «тактик» относительно независимых от самих типов преобразуемых порядков? Это покажут дальнейшие исследования — антропологические, психологические и, особенно, юридические. Мы же пока зафиксируем начальный результат — новый поворот в «деле о Дон Кихоте».

Ни Джеймс, ни Шюц, ни Гофман не дают нам ресурсов для концептуализации события удара копы о крыло мельницы именно как события перформативного, то есть разрушающего некоторый смысловой порядок событийности. Дон Кихот счастливо избегает крушения своего иллюзорного мира, свалив вину за постыдное падение на сверхъестественные силы скрытого противника. Шюц так же счастливо избегает вопроса о процессах суверенизации и де-суверенизации миров посредством хитрых теоретических манипуляций понятиями «акцент реальности», «анклав» и «символическая аппрезентация». Гофман с интересом анализирует механизмы переключения событий из мира реального в мир вымышленный, не допуская возможности вторжения одной событийной «тональности» в другую. Мы же должны попытаться понять, как «буквальный» удар копы о крыло мельницы трансформировал структуру «небуквального» донкихотовского мира (а вместе с ней — и структуру мельницы).

Впрочем, как мы попытаемся показать далее, интервенция — не единственный способ десуверенизации миров. Другой механизм предполагает *работу подозрения*.

Два типа подозрения

Не так давно жители небольшого европейского городка почувствовали на собственном опыте, что значит быть героем фильма «День сурка». Те из них, кто днем оказывались на главной ратушной площади, могли наблюдать привычные сцены повседневной городской жизни — дама выгуливает собачку возле фонтана, парочка на лавочке сжимает друг друга в объятиях, несколько пожилых людей играет в петанк, господин средних лет читает газету, старушка кормит голубей, подростки что-то шумно обсуждают возле входа в здание, которое фотографирует группа туристов и т.д. Оказавшись в этом же месте на следующий день горожане обнаруживали ровно тех же самых людей, занятых тем же самым делом — туристы фотографируют, подростки шумят, парочка обнимается. И на следующий день. И на следующий. Не менялось практически ничего — те же люди в одно и то же время совершали те же действия. Через некоторое время жители города стали проявлять любопытство и задавать актерам (а это были именно профессиональные актеры) вопросы, на которые те отвечали сообразно своим ролям. Спустя неделю горожане начали сомневаться в происходящем, искать ему рациональное объяснение, подозревать заговор с неясной целью, обращаться в полицию.

В действительности жители города — или, точнее, та их часть, которая днем прогуливается по главной площади — оказались участниками большого театрального эксперимента: режиссер одного из современных театров (специализирующийся как раз на те-

атрализации повседневности) превратил при помощи своей труппы и приглашенных актеров центр города в подмостки. Этот эксперимент должен был обнажить структуру городской повседневности, сделать рутину видимой именно за счет очищения и усиления ее «рутинности». Однако он продемонстрировал иной значимый для социальной жизни эффект — работу подозрения. Жители города оказались не столько в «Дне сурка», сколько в «Шоу Трумана»¹⁰⁴.

В самом общем виде подозрение есть отношение к миру в модусе «Что за этим кроется?». Этой формулировкой мы обязаны Никласу Луману. Когнитивные операции подозревающего разума всегда предполагают отсылку к чему-то внешнему / сокрытому: «Например, можно восторгаться китайской живописью, элегантностью рисунка и растворением очертаний в облаках и тумане. Но можно также установить, что облака на картинах всегда бывают помещены там, где требуется скрыть, что китайцы не владеют центральной перспективой»¹⁰⁵. То, что существует «на самом деле», всегда сокрыто от глаз наблюдателя. А значит, он должен отнестись к видимости со всем должным подозрением и посредством некоторых аналитических операций (необязательно герменевтического толка) прийти к выводу о подлинных причинах видимого. В первом приближении подозрение утверждает примат Разума над Взглядом.

Сакральной фигурой этого когнитивного стиля всегда был К. Маркс. Для атаки на Маркса Луман мог выбрать сотни удачных примеров марксистской «культуры подозрения», но выбрал один единственный образец — критику английских фритредеров в лице фабриканта Кобдена и потакающего ему премьер-министра Пиля. Как мы помним из отечествен-

ных учебников истории, Кобден и Брайт ратовали за отмену хлебных законов, мотивируя это стремлением снизить цены на хлеб, но рабочие «...очень хорошо знали, что понижение цены хлеба нужно было капиталистам лишь для уменьшения заработной платы»¹⁰⁶. Маркс уличает фритредеров в лицемерии — стремлении заручиться поддержкой рабочего класса для борьбы с крупными землевладельцами; *в действительности же* облегчение участи рабочих вовсе не входит в планы буржуазии, *на самом деле* отмена хлебных законов только развяжет буржуазии руки и позволит ей усилить эксплуатацию.

Марксистскую культуру подозрения Луман называет «культурой подозрения мотивов». И это уже само по себе любопытно. Разоблачение ложного сознания, критика идеологии и вся постмарксистская традиция подозрительности в отношении перверсий капиталистического мира оказываются вторичными по отношению к такому на первый взгляд маргинальному сюжету как обвинение фритредеров в лицемерии. Как мы увидим дальше, слово «мотив» здесь ключевое. А пока сделаем шаг к иной версии культуры подозрения — той, которую столь виртуозно описывают социальные антропологи.

В работе Ильи Утехина быт петербургской коммунальной квартиры насквозь пронизан подозрением. Более того, подозрение соседей по отношению друг к другу является основным механизмом солидаризации этой странной социальной общности. «Местного алкоголика систематически подозревают в мелких кражах вещей из пустой комнаты — бутылок, банок и книг <...>. В потенциально конфликтных ситуациях, когда водогрей гаснет сам по себе, соседи прибегают к специальным средствам, чтобы отвести от себя гнев моющего в ванной <...>»¹⁰⁷. Много-

детные семьи в коммуналке априорно находятся на подозрении — они пытаются «получить отдельную квартиру, нарожав детей». Подозрения вызывает избыточное внимание к гигиеническим практикам — слишком долго и тщательно мыться можно только в связи с каким-то экстраординарным событием. Те, кто совместно пользуются холодильником, непременно подозревают друг друга в подмене продуктов. И, наконец, главный локус коммунального подозрения — туалет: «Никто не знает, чем сосед занимается во временно закрытом пространстве места общего пользования — об этом можно только подозревать. Соответственно, для коммунального мировоззрения само собой разумеется, что линия поведения человека, когда его никто не видит, может отличаться от того, что выходит на поверхность и становится известно окружающим»¹⁰⁸. (См. также исключительно интересную статью Н. Ссори́на-Чайкова о связи подозрения, дружбы и неформальных экономических практик в субарктической Сибири¹⁰⁹.)

Что общего у Карла Маркса и обитателей петербургской коммуналки?

Глубокое убеждение в лицемерии подозреваемых. Подозреваемый Кобден силится убедить нас в том, что желает снижения цен на хлеб. Но его подлинный мотив — обогащение. Подозреваемые многодетные родители силятся убедить нас в своей любви к детям, но мы-то знаем, что все это часть расчетливой стратегии, цель которой — получить отдельную квартиру.

В то же время базовое отличие «культуры подозрения» Маркса от «культуры подозрения» в коммунальной квартире коренится в различии *социального* и *трансцендентального* подозрения. Последнее — привилегия исследователя. Маркс по-

дозревает Кобдена. Он уличает (еще одна важная операция подозревающего разума) того в лицемерии. Насколько подозрительность свойственна самим фритредерам? Мы этого не знаем. Трансцендентальное подозрение не взаимно, оно закрепляет асимметрию исследователя и исследуемых по линии «подозрение —> лицемерие». Напротив, в коммунальной квартире все подозревают всех. Это не трансцендентальное, а социальное подозрение, оно вплетено в самую ткань мира социальных взаимодействий. Социальное подозрение взаимно, симметрично и intersубъективно (перефразируя Альфреда Шюца, мы могли бы сказать, что «подозрение-для-того-чтобы» одного участника коммуникации становится «подозрением-потому-что» другого).

Трансцендентальная подозрительность, которую Луман диагностирует у Маркса, фокусирует взгляд исследователя на обнаружении неподлинности мотивов исследуемых. Те мотивы, которые озвучивают социальные агенты, не являются их действительными интенциями. Подлинные же интенции надо искать в сфере «сокрытого»: вытесненных воспоминаний или классовых интересов. Брюно Латур показывает, как все социологическое объяснение оказывается пронизанным культурой подозрения: например, деятели культа силятся убедить нас в том, что религиозные верования имеют отношения к трансцендентному божественному миру, но мы-то знаем, что за ними стоят социальные факты — и, прежде всего, механизмы поддержания солидарности. Так, благодаря Дюркгейму, регион социального оказывается одновременно действительным и сокрытым: чем-то вроде сферы «Оно» у Фрейда. Луман указывает на особенную трансцендентальную подозрительность двух областей современной социоло-

гии: Critical Legal Studies (критические исследования права) и социологию науки. Обе они разоблачают подлинные причины действий юристов и ученых за видимой самообоснованностью их мотивов.

Трансцендентальное подозрение удивительным образом примиряет теоретиков и эмпириков. Подозрительный исследователь-теоретик всегда точно знает, где ему следует искать истинные причины человеческих действий — весь словарь его теоретических интерпретаций «заточен» под эту операцию разоблачения неподлинности. Подозрительный исследователь-эмпирик «...живет в постоянном страхе быть обманутым. Он боится подвергнуться риску получить искаженную информацию, боится стать жертвой мистификации, боится быть оставленным в дураках информантом. Он знает, что вокруг него постоянно разыгрываются спектакли, которые не соответствуют его целям, и единственное, что ему остается — искать подлинное социальное за масками исполнителей»¹¹⁰.

Здесь кажется любопытным наблюдение одного протестантского теолога: «...греческое слово *hypokrisis*, соответствующее слову “лицемерие”, изначально было театральным термином, означавшим “лицедейство” или “игра”, и в новозаветные времена имело ярко выраженную негативную коннотацию»¹¹¹. Лицемерие — атрибут игры. Культура подозрения мотивов (как элемент когнитивного стиля социологии) делает концептуализацию социального мира в категориях театральной игры необычайно привлекательной.

Ключевой вопрос: в каком отношении находятся между собой трансцендентальное и социальное подозрение? Можем ли мы сказать, что подозрительность социолога — лишь частный случай всеобщей фундаментальной подозрительности социальных агентов? Или наоборот — что подозрение

социолога заставляет его атрибутировать свойство подозрительности самим подозреваемым?

Оба хода кажутся нам сомнительными. Первый сам является порождением аксиоматики подозрения — мы должны изначально поместить (без всяких предварительных обоснований) подозрительность в природу социального субъекта, чтобы затем объяснить свою собственную одержимость поиском подлинных мотивов его действий. Второй ход кажется неудовлетворительным чисто логически — трансцендентальное подозрение социолога вовсе необязательно проецирует свойство подозрительности на изучаемый им мир. Актеры играют и «лицемерят», но они не обязаны при этом подозревать всех и вся. Напротив, те примеры социального подозрения, которые мы приводили выше, были получены в максимально далекой от культуры трансцендентального подозрения оптике социальной антропологии: ни И. Утехин, ни Н. Ссорин-Чайков не ищут подлинных мотивов «над» или «под» словами своих информантов. Они описывают подозрение так, как оно проявляется в собранных интервью. Социальные антропологи куда менее подозрительны в отношении своих информантов, чем сами информанты в отношении друг друга. Соответственно, нам вовсе не требуется быть «подозревающими субъектами» чтобы увидеть в подозрении некоторую основу социальных взаимодействий. Скорее, даже наоборот. Социальное и трансцендентальное подозрение принципиально несводимы друг к другу.

Пожалуй, самое яркое исключение из этого правила — Ирвинг Гофман. В его работах каждый компетентный социальный актер — не только умелый исполнитель своей роли, но и разведчик, стремящийся скрыть от других некоторое положение вещей, и контрразведчик, находящийся в непрестанном поис-

ке достоверной информации об остальных агентах. (Отсюда значимость идеи «containment» — удержания друг друга «под колпаком».) Отвечая на ключевой для фрейм-анализа вопрос «Что здесь происходит?», люди вынуждены давать оценку происходящих событий в категориях их подлинности / сфабрикованности. Однако это — социальное подозрение, которое Гофман рассматривает чуть ли не как универсальный атрибут любых структурированных взаимодействий. Нетрудно также заметить, что и сама позиция создателя фрейм-анализа в отношении к повседневным социальным «игрокам» пронизана трансцендентальным подозрением. Гофман, который по воспоминаниям его бывших студентов иногда обнюхивал мало-знакомых людей, чтобы составить о них более полное представление, держит на подозрении весь социальный мир. Он описывает пассажиров, ожидающих автобуса на остановке, так, как если бы любой шаг каждого из них был хорошо продуманной и заранее спланированной операцией спецслужб.

А теперь сделаем следующий шаг и сформулируем вопрос иначе: что составляет *единство различия* трансцендентального и социального подозрения? Что — при всех различиях избирательной подозрительности социолога и тотальной подозрительности социальных агентов — объединяет эти два феномена? Ответ был дан выше Луманом: фокусировка на мотивах. Мы подозреваем людей (в лицемерии). Мы подозреваем ситуации (в сфабрикованности). Далее мы будем называть такую специфическую форму социологического подозрения мотивов — *параноидным* подозрением. Параноидное подозрение может быть трансцендентальным и социальным, но оно всегда нацелено на обнаружение

«двойного дна» в действиях людей. (Интересна в данном контексте попытка некоторых психиатров и социальных психологов свести к проявлениям социального подозрения всю симптоматику параноидальных расстройств¹¹².) Куда более фундаментальным является иной тип подозрительности, который мы здесь — для сохранения терминологического единства — будем называть *шизоидным*. Оно состоит в обнаружении «двойного дна» у самой окружающей действительности, воспринятой обезличено. Это острое чувство неподлинности всего происходящего, хорошо знакомое писателям, философам и людям, страдающим психическими отклонениями.

Самые яркие примеры такого типа шизоидной подозрительности мы найдем в литературе. Одна из героинь Милана Кундеры, пражская художница, воспитанная в духе социалистического реализма, объяснила свое творческое становление на любопытном примере: «Она откуда-то вытащила старый холст, на котором была изображена стройка металлургического завода. Она писала его в ученические годы, когда в Академии требовали самого точного реализма, и Сабина, увлеченная спортивным духом пари, стремилась быть еще строже своих учителей — она писала картины так, что мазки кисти были на них совершенно невидимы, и они становились похожими на фотографии.

— Эту картину я испортила. Капнула на нее красной краской. Сперва я ужасно переживала, а потом пятно мне понравилось, оно походило на трещину. Словно стройка была не настоящей стройкой, а треснувшей театральной декорацией, на которой стройка всего лишь нарисована. Я начала играть с этой трещиной, расширять ее, придумывать, что можно было бы увидеть позади нее.

Так я написала свой первый цикл картин, который назвала “Кулисы”.

Естественно, я никому их не показывала. Меня тотчас бы выгнали из Академии. На первом плане всегда был совершенно реалистический мир, а за ним, словно за разорванным полотном декорации, виднелось что-то другое, таинственное и абстрактное. Впереди была понятная ложь, а позади непонятная правда»¹¹³.

Героиня Кундеры не ищет «двойного дна» в действиях людей, она не подозревает их в лицемерии, не обнаруживает тайных мотивов за поступками окружающих. Она переживает неподлинность окружающего ее мира как такового. Шизоидное подозрение не ограничивается людьми; даже здания для него — не более чем декорации в неизвестном спектакле. Анри Лефевр убедительно описывает неподлинность городского пространства. Скамейка в центральном парке Нью-Йорка выглядит как удобный артефакт повседневной жизни, но за ней стоит политическая воля муниципалитета — именно по его заказу скамейку спроектировали так, чтобы на ней не могли спать бомжи¹¹⁴. Аналогичным образом Лэнгдон Винер показывает, что за самоочевидностью Нью-Йоркских мостов скрывается стремление градостроителей не допустить автобусы из бедных «черных» кварталов в Даунтаун (мосты построены слишком низко для высоких муниципальных автобусов)¹¹⁵. Шизоидное подозрение — вопрос «Что за этим кроется?», адресованный не мотивам действующих, а самой наблюдаемой реальности, — это та установка, которая доводит до самоубийства набоковского шахматиста Лужина, разглядевшего в чередѣ на первый взгляд никак не связанных между собой событий (поворот трамвая, случайная встреча etc.) ходы в шахматной партии с неизвестным, транс-

цендентным разумом. Именно поэтому нам кажется крайне сомнительным утверждение М. Соколова о «невозможности подозревать вещи» — вещи куда подозрительнее людей (о чем нам не устают напоминать архитектурные критики¹¹⁶).

Редукция шизоидного подозрения к параноидному — привычный сюжетный ход в популярной литературе и кино. Герой обнаруживает странность происходящего, начинает сперва подозревать заговор против себя лично, затем приходит к мысли о неподлинности окружающего его мира как такового, сомневается в собственной психической адекватности и, наконец, выясняет, что его первоначальные подозрения справедливы — он вменяем и адекватен, мир не утратил своей онтологической весомости, а заговор на самом деле имеет место. (См. фильмы «Шоу Трумана» с Дж. Керри и «Игра» с М. Дугласом).

Тем не менее шизоидное подозрение является куда более фундаментальной установкой. В его основе лежит *онтологическое сомнение* — отказ признавать видимое действительным. (Ирвинг Гофман пытается радикально развести «подозрение» и «сомнение», но различие, которое он предлагает, для целей нашего рассуждения нерелевантно — сомнение в подлинности видимого есть условие и социального, и трансцендентального подозрения.)

В шизоидном подозрении мы также можем различить трансцендентальную и социальную логики. Социальное шизоидное подозрение — это то, что заставляет кундеровскую Сабину видеть «обратную сторону вещей», а набоковского Лужина признать свое экзистенциальное поражение в шахматном поединке с неведомым противником. Человек, ежедневно подвергающийся воздействию пропаганды, может отнести к реальности «на экране телеviso-

ра» в модусе параноидного подозрения — он знает, что за словами журналистов скрываются навязанные «темники» и спущенные сверху интерпретации, он легко обнаруживает пропагандистские клише в словах аналитиков и комментаторов. Он понимает, что все это — не более чем маскировка чьих-то подлинных мотивов. Он даже может догадаться — чьих. В модусе шизоидного подозрения адресат отсутствует. На подозрении находятся не отдельные интерпретации и журналисты, а демонстрируемая реальность как таковая. События лишаются онтологического статуса. (Была ли на самом деле война в Ираке? Имела ли место в действительности высадка астронавтов на луне?). При всем различии двух модусов подозрения они объединены установкой «Что за этим кроется [на самом деле]?».

Так же как трансцендентальное параноидное подозрение — удел социологов, трансцендентальное шизоидное подозрение — прерогатива философов. Начиная с платоновского мифа о пещере и вплоть до структуралистской одержимости поиском глубинных структур, мы можем выделить ряд философских стратегий обнаружения неподлинности видимого мира. В конечном итоге шизоидное подозрение — это специфическая версия философской онтологии множественных миров; специфическая — потому что видимый мир признается не просто одним из возможных сегментов реальности, но и наименее «онтологически достоверным» ее сегментом.

Выше мы уже говорили о том, что среди всех продуктивных мифологем, выработанных европейской метафизикой, джеймсовское представление о мире, как о совокупности упорядоченных и относительно автономных друг от друга «онтологических регионов» — одно из наиболее востребо-

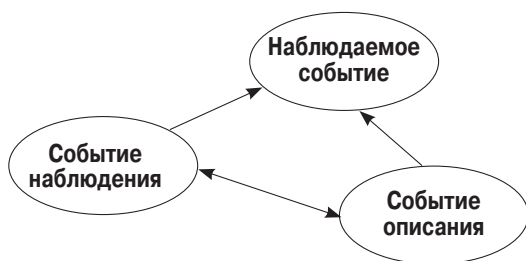
ванных социологической теорией. Но для самого У. Джеймса концепция множественных миров связана с идеей онтологического сомнения в подлинности мира: *«Истинными противоположностями веры, с психологической точки зрения, являются сомнение и подозрение, а не неверие. <...>.* Одной из притягательных сторон опьянения, безусловно, является достигаемое благодаря ему усиление чувства реальности и подлинности. В каком бы свете мы ни воспринимали окружающее в данном состоянии, мир кажется нам более незыблемым, нежели он есть на самом деле, более «незыблемо незыблемым», нежели когда мы трезвы. <...>. Но есть еще одно патологическое состояние, которое равно далеко как от сомнения, так и от веры, и которое некоторые люди предпочли бы считать истинной противоположностью последней. Я имею в виду ощущение того, что всё пусто, нереально, мертво»¹¹⁷. Так же как все уважающие себя теории заговора строятся на аксиоматике параноидного подозрения («подозрения мотивов»), теория множественных миров основывается на примате подозрения шизоидного («подозрения реальности»).

Мы говорим о подозрении как о механизме связи событийных порядков, принципиально отличном и от интервенции, и от транспонирования. Вспомним еще раз о театральном эксперименте в европейском городе. Был ли он транспонированием городской повседневности? Да, несомненно. Но это было транспонирование повседневности в повседневность — элементы «переключенного» порядка помещались в буквальную реальность, послужившую прототипом для переключения. Был ли он интервенцией? До некоторой степени. Впро-

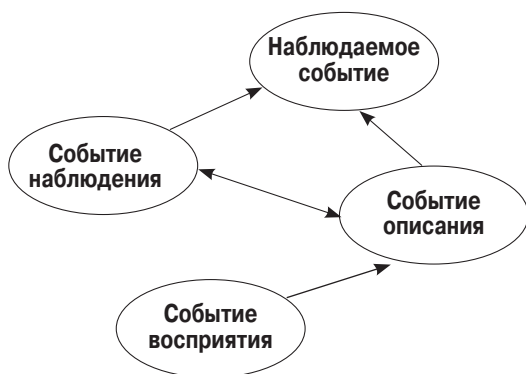
чем, в отличие от культурного эксперимента в Перми, «пробоя диэлектрика» не произошло (да и не планировалось); столкновение двух событийных порядков не повлекло за собой тотальную трансформацию одного из них. Возникшее у жителей ощущение нереальности происходящего — подозрение в неподлинности знакомого мира — Фрейд назвал чувством Жуткого (*unheimlich*, дословно: «недомашнего»). Это то самое чувство, которое появляется у вас, когда вы приходите домой, протягиваете руку, чтобы погладить свою старую кошку и вдруг понимаете, что это не ваша кошка, да и не кошка вовсе. Это ощущение очень точно передано в картинах Рене Магритта. Но нас в этой истории более всего интересует *эффект дивергенции*, расщепления мира, хорошо заметный благодаря работе подозрения.

Наблюдатель обнаруживает, что «что-то не так». Он проводит различие между видимым повседневным миром и скрытой за ним реальностью X. Он фиксирует связи наблюдаемого событийного порядка как маскирующие и скрывающие подлинные связи порядка X. Последняя операция — он сводит видимое к невидимому, наблюдаемое к подразумеваемому. Дивергенция — это удержание в зоне внимания одновременно двух систем фреймов, одна из которых оказывается поверхностной и маскировочной, тогда как другая — подлинной и требующей сокрытия. И здесь становится принципиальным различие между фигурой Наблюдателя и фигурой Зрителя.

Выше мы заимствовали из теории социальных событий схему, позволяющую описать связь наблюдаемого события, события наблюдения и события описания.



Наблюдаемое событие отличается от события повествования о нем, как фабула театрального произведения от его сюжета. Тем не менее повествование предполагает воспринимающего, оно интенционально и обращено к потенциальному зрителю (в отличие от происходящего, которое может прекрасно происходить и без наблюдателей). Теперь событие восприятия описанного оказывается рядоположным событию наблюдения происходящего, но принципиально отличным от него.



Принципиальное отличие Зрителя от Наблюдателя состоит в том, что наблюдатель сам «вырезает» наблюдаемые события сообразно системе фреймов своего языка и выстраивает событийные связи меж-

ду ними (хотя мы помним гофмановский тезис об изоморфизме), тогда как зритель идентифицирует уже сфабрикованные специально для него события и связи. Зритель — не наблюдатель второго порядка (т.е. не наблюдатель наблюдателя). Он — квази-наблюдатель, субъект, воспринимающий нечто уже интенциональным образом обращенное к нему.

Сновидец — зритель или наблюдатель своего сновидения? Для Джеймса и Шюца — наблюдатель. Сновидение мыслится ими как транспонированная реальность, но тем не менее реальность *suī generis*. Для Гофмана — зритель. Поскольку в гофмановской модели мышления сон — это уже определенным образом сфабрикованная (а не транспонированная) действительность, у него есть сюжет, композиция и интрига.

Весь ужас описанного выше эффекта дивергенции, расщепления миров как результата «работы подозрения» состоит в том, что субъект, полагавший себя наблюдателем реальности, осознает, что он — зритель; что даже повторяющиеся эпизоды городской рутины оказываются сценами из чьего-то спектакля, элементами сюжета, а не фабулы. Подозревающий субъект не может отвернуться от этих сцен как от неподлинных, он должен научиться видеть *сквозь* них, чтобы разглядеть контуры фабрикации (в случае параноидного подозрения Макнотена) или действительные основания мира (в случае шизоидного подозрения Лужина).

Этот ход радикально переопределяет всю проблематику восприятия реальности. Теперь восприятие — как и наблюдение — должно мыслиться в качестве события, но события особого рода. Философская бездна простирается между событиями наблюдения и восприятия, между фигурой Наблюдателя и фигурой Зрителя.

Вместо заключения: «Дело Стоуна»

Могут ли одни и те же события одновременно принадлежать разным событийным порядкам?

Ответ — нет, если мы следуем логике фрейм-анализа. События могут транспонироваться, перекодироваться, перемещаться из одной системы фреймов в другую. Но тогда это уже другие события. Если для придания правдоподобия казни в спектакле на сцене театра действительно казнят человека (как было в римском театре эпохи Тита Ливия), то это все равно фрейм спектакля, а не казни, говорит Гофман.

Ответ — да, если мы следуем логике акторно-сетевой теории. Одни и те же события в человеческом теле, говорит Аннмари Мол, являются и действиями, например, эндокринной системы, и событиями внутри организма в целом и, при определенных обстоятельствах, фактами медицинской практики. Потому что действует принцип инклюзии, «вложения» (inclusion), о котором нас предупреждал Дж. Ло: одни событийные порядки могут «вкладываться» в другие, ни теряя своей автономии, ни образуя шюцевских суверенных анклавов.

К сожалению, здесь мы не сможем проследить эту развилку дальше — туда, где заканчивается социология повседневности и начинается теория событий. Не имея возможности исследовать все расходящиеся из этой точки теоретические направления, попробуем обозначить лишь некоторые из них.

В 2006-м году полиция Северной Ирландии задержала активиста Ассоциации обороны Ольстера (UDA), боевой организации североирландских оранжистов Майкла Стоуна за попытку покушения на одного из лидеров Шинн Фейн Джерри Адамса. Стоун проник в здание парламента в Стормонте, вооруженный баллончиком с краской и игрушечным пистолетом «Беретта». Его немедленно обезоружили. На суде Стоун заявил, что его действия — «акт перформативного искусства, имитирующий террористическую атаку». Эта интерпретация имела право на существование: несколько последних лет Стоун зарабатывал на жизнь как художник. Его друзья по оранжистскому подполью фреймировали действия Стоуна как «акт политической борьбы». У этой интерпретации также нашлись свои основания: Стоун был одним из наиболее радикальных членов организации и даже вышел ранее из состава более массового объединения — Ольстерских волонтерских сил (UVF) — из-за «мягкотелости» его руководства. Ирландские СМИ настаивали на максимально жестокое наказание: несколькими годами ранее Майкл Стоун уже был обвинен судом в террористической атаке и отбыл часть своего заключения за убийство одного члена Ирландской республиканской армии на похоронах другого ее члена.

Конфликт интерпретаций — это конфликт фреймов. Однако фреймы — не только когнитивные решетки, но и событийные порядки, структурные характеристики самих событий и онтологические условия их возможности. Дело в том, что в Великобритании годом ранее был принят закон под названием «Акт о сокращении числа насильственных преступлений» (Violent Crime Reduction Act)¹¹⁸. Этот закон, в частности, нацелен против

импорта, изготовления и использования реалистичного игрушечного оружия. Нереалистичным признано игрушечное оружие, которое:

а) изготовлено из прозрачного материала или покрашено в ярко красный, ярко оранжевый, ярко желтый, ярко зеленый, ярко розовый, ярко фиолетовый или ярко голубой цвет; или

б) менее 38 мм в ширину и 70 мм в длину; или

в) имитирует оружие образца 1870 года и ранее.

Аналогичный закон действует в США, однако там противозаконны имитации оружия, выпущенного после 1898 г.¹¹⁹

Майклу Стоуну было предъявлено обвинение в использовании реалистичного игрушечного оружия — его «Беретта» была черной.

Этот сюжет возвращает нас к болезненному вопросу об объекте фреймирования. Выше мы безответственно говорили о «событиях», «действиях» и «вещах» как о чем-то рядоположном. Но если действия (в данной логике) — суть события особого рода, то вещи — нет. Каково место материальных объектов в архитектуре событийности? А.Ф. Филиппов пишет об «элементах логической конструкции события», однако нам этот путь уже заказан — он вернет нас к тирании Наблюдателя в теории социальных событий и к «шюцевской поправке» в концепции множественных миров (замкнутые области смысла суть характеристики восприятия, а не самого мира). Мы уже сделали шаг вслед за Гофманом — фреймы являются событийными порядками. А значит, о материальных объектах следует говорить либо как об *онтологических* элементах конструкции событий, либо как о механизмах связи событий. Можно радикализовать этот тезис и пойти не от событий и фреймов, а от «самых ве-

щей» — как материальные объекты конституируют, «сцепляют», поддерживают и преобразуют события социального взаимодействия?

Такой ход выведет нас из социологии повседневности в область социологии материальности.

Третий сюжет касается вопроса об интервенциях и устойчивости событийных порядков. До какого момента мы еще можем говорить, что «это фрейм Х», а когда это уже иной событийный порядок? Как происходит трансформация системы фреймов? Какие событийные связи должны устоять, чтобы «фрейм Х» оставался «фреймом Х»?

Этот вопрос в социальной топологии называется вопросом о гомеоморфизме и предполагает исследование «топологической устойчивости» разных событийных конструкций. Но обращение к топологической метафоре предполагает, что к двум уже озвученным интуициям событийного порядка — порядок-как-связь и порядок-как-множество — добавляется третья: порядок-как-форма, более или менее «эластичная».

Данное теоретическое решение (наименее проработанное) уведет нас из социологии повседневности в область социальной топологии (и ее более respectable предшественницы — формальной социологии).

Наконец, последний сюжет связан с запретным для современной социологии вопросом. Двинувшись вслед за Шюцем, социологическая теория действия совершила радикальный отказ от исходных джеймсовских предпосылок. Контекст действия (тот мир, в котором оно совершается) важнее, чем какие бы то ни было «субстанциаль-

ные характеристики» действующего. Собственно, этот отказ (легко дающийся социологам со времен Макса Вебера, с подачи которого социолог должен «стремиться понять действие, а не действующего») и стал предпосылкой экспорта «джеймсовской проблемы» — и связанной с ней онтологии множественных миров — из психологической теории в социологическую.

Отныне теория множественных миров не предполагала с необходимостью ответа на вопрос о «природе» самого действующего. Стоит ли говорить, что психологическая теория двинулась в прямо противоположном направлении — к экзистенциальной философии (исторически проигнорированной социологами), к идеям Dasein-анализа, новой философской антропологии бытия-в-мире и в конечном итоге к новой онтологии действующего. Но можно ли ответить на вопрос о контексте действия («в каком мире находился действующий?»), не отвечая на вопрос о природе действующего («кем он был в момент совершения действия»)? Как выстроить новую онтологию субъекта действия, не возвращаясь ни к великому «феноменологическому отказу» от этой проблематики, ни к тупикам ранней философско-антропологической социологии (М. Шелер, А. Гелен, Х. Шельски)? Возможно, социологической теории пришло время вернуться к невыученному уроку экзистенц-философии.

Наше исследование началось как реконструкция шахматной партии, а завершилось как «Атлас облачного неба» Д. Митчелла¹²⁰. Границы исследовательских областей — социологии повседневности, социологии смерти, социологии вещей — оказались предательски размытыми, подвижными и

до крайности неопределенными, как границы событийных порядков у Гофмана. Нам лишь остается тешить себя иллюзией, что такое размывание неизбежно, когда после многократно продуманных и отточенных теоретических ходов в дебюте игра входит в фазу миттельшпиля.

Здесь же возникает почти непреодолимое искушение применить исследуемую идею множественных миров к самому исследованию. Можем ли мы мыслить социологическую теорию как особую систему фреймов, а каждое теоретическое решение, не просто как ход, но как событие в некотором операционно-замкнутом событийном порядке? Впрочем, такая эпистемологическая развертка уже ближе к региону фантазии, чем к региону науки.

Оставим пока и эту возможность открытой для будущих исследований.

Примечания

- ¹ Б. Латур (р. 1947) — один из самых известных современных социологов, создатель акторно-сетевой теории (ANT), Д. Маккензи (р. 1950) — представитель «эдинбургской школы» социологии, создатель родственной ANT теории перформативности. Труды обоих авторов были посвящены осмыслению хрупкости и условности границ между «миром вещей», «миром идей» и «миром людей». У Латура и Маккензи не только вещи действуют в социальном мире наравне с людьми, но и идеальные сущности — такие как формулы, модели и метафоры — способны к самостоятельному действию. См. *Латур Б. Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию*. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. *MacKenzie D. An Engine, Not a Camera: How Financial Models Shape Markets*. Cambridge, MA; London: MIT Press, 2006.
- ² У. Джеймс (1842—1910) — классик психологической теории, автор функционалистской психологии и один из ярких представителей философии прагматизма.
- ³ *Ионин Л.Г. Социология культуры*. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2004.
- ⁴ *Donnelly R., Goldstein J., Schwartz R. Criminal Law*. NY.: The Free Press, 1962.
- ⁵ Там же.
- ⁶ *Molan M.T., Molan M., Bloy D., Lanser D. Modern criminal law* (5 ed). London: Routledge, 2003.
- ⁷ *Джеймс У. Глава Восприятие реальности* / Пер. с англ. А. Корбута // *Социология власти*. 2013. № 1—2. С. 223—224.
- ⁸ Напомним, что согласно этой классификации животные делятся на «а) принадлежащих Императору, б) набальзамированных, в) прирученных, г) молочных поросят, д) сирен, е) сказочных, ж) бродячих собак, з) включённых в эту классификацию, и) бегающих как сумасшедшие, к) бесчисленных, л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о) похожих издали на мух». *Борхес Х.Л. Аналитический язык Джона Уилкинса* / Пер. с исп. Е. Лысенко // *Проза разных лет: Сборник*. М.: Радуга. 1989. С. 218.
- ⁹ Э. Гуссерль (1859—1938) — выдающийся немецкий философ, основатель феноменологического направления.
- ¹⁰ *Шюц А. О множественности реальностей* / Пер. с англ. А. Корбута // *Социологическое обозрение*. 2003. Т. 3. № 2. С. 3—34.
- ¹¹ А. Бергсон (1859—1941) — французский философ, представитель философии интуитивизма, чья концепция времени оказала сильное влияние на феноменологическую социологию.
- ¹² С. Кьеркегор (1813—1855) — датский философ религии и теолог, представитель направления религиозного экзистенциализма.

- ¹³ См.: <http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/07/26/260393>
- ¹⁴ *Стивенсон Н.* Криптономикон. М.: АСТ, 2004.
- ¹⁵ По итогам Бреттон-Вудского соглашения (1944) доллар стал мировой валютой, чья стоимость обеспечивалась американским золотым запасом (по цене 35 долл. за тройскую унцию). После того как в 1965 г. Шарль де Голль, в соответствии с этим соглашением, потребовал обменять полтора миллиардов долларов на «реальное золото из Форт-Нокса», Бреттон-Вудская модель пошатнулась. В 1971 г. президент Никсон отказался от золотого обеспечения доллара, возникла Ямайская валютная система, полностью «отвязанная» от золотых запасов, основанная исключительно на свободной конвертации валют.
- ¹⁶ *Зелизер В.* Социальное значение денег. Деньги на булавки, чеки, пособия по бедности и другие денежные единицы / Пер. с англ. А.В. Смирнова, М.С. Добряковой; под научной редакцией В.В. Радаева. М.: Дом интеллектуальной книги; Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004.
- ¹⁷ *Радаев В.В.* Предисловие научного редактора // *Зелизер В.* Указ соч. С. 6—25.
- ¹⁸ Описание прецедента см.: <http://www.siliconrus.com/2013/11/million-dollar-pizza/>
- ¹⁹ *Радаев В.В.* Указ соч. С. 16.
- ²⁰ *Simmel G.* The Philosophy of Money. London; New York: Routledge, 2004.
- ²¹ *Московичи С.* Машина, творящая богов / Пер. с фр. Т.П. Емельяновой, Г.Г. Дилигенского. М.: Центр психологии и психотерапии, 1998. С. 408.
- ²² Подробное описание инновации MIT Lab можно найти здесь: <http://consumerist.com/2010/12/07/smart-wallets-react-to-electronic-spending-by-refusing-to-open/>
- ²³ *Латур Б.* Об интеробъективности / Пер. с англ. А. Смирнов; под ред. В. Вахштайна // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 2. С. 79—96.
- ²⁴ *Bellamy E.* «Looking Backward: 2000—1887». Boston: Signet, 1960.
- ²⁵ *Луман Н.* Невероятность коммуникации / Пер. с нем. А.Л. Ложеницина, под ред. Н.А. Головина // Проблемы теоретической социологии. Вып. 3. / Отв. ред. А.О. Бороноев. СПб.: Издательство СПбГУ, 2000.
- ²⁶ Как делает это сегодня Университет Никосии.
- ²⁷ *Джеймс У.* Указ. соч. Сс. 222—223.
- ²⁸ *Вебер М.* Основные социологические понятия / Пер. с нем. М.И. Левиной // *Вебер М.* Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
- ²⁹ *Вебер М.* Наука как призвание и профессия / Пер. с нем. А.Ф. Филиппов, П.П. Гайденок // *Вебер М.* Указ. соч. С. 707—735.
- ³⁰ «...“Что это? я падаю? у меня ноги подкашиваются”, подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем

кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба — высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нему серыми облаками. “Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, — подумал князь Андрей, — не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, — совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, я, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!...”». *Толстой Л.* Война и мир. Т. 1. М., 1970. С. 187.

³¹ Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / Пер. с нем. М.И. Левиной // Вебер М. Указ соч. С. 76.

³² Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии / Пер. с нем. М.И. Левиной // М. Вебер. Указ соч. С. 509.

³³ Современная социология науки и техники в лице Брюно Латура яростно атаковала этот веберовский ход: «Например, если велосипедист, наткнувшись на камень, слетел с велосипеда, — пишет Латур, — обществоведам нечего сказать по этому поводу. Но стоит вступить на сцену полицейскому, страховому агенту, любовнику или доброму самаритянину, сразу же рождается социологический дискурс, потому что здесь мы получаем ряд общественно значимых событий, а не только каузальную смену явлений. Представители STS (*Science and technology studies, современное направление в социологии науки и техники* — В.В.) не согласны с таким подходом. Они считают социологически интересным и эмпирически возможным анализировать механизм велосипеда, дорожное покрытие, геологию камней, психологию ранений и т.п., не принимая разделение труда между естественными и общественными науками, основанное на дихотомии материи и общества. Несмотря на то, что такая уравновешенность (“симметрия”, употребляя профессиональный жаргон) вызывает ожесточенные дискуссии в нашем лагере, все участники STS согласны относительно следующего: общественные науки должны *выйти за пределы* той сферы, которая до настоящего времени считалась сферой “общественного”. См.: *Латур Б.* Когда вещи дают отпор / Пер. с фр. О. Столяровой // Социология вещей. Сборник статей. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. С. 343.

³⁴ Бурдьё П. Практический смысл / Пер с франц. А.Т. Бикбова, К.Д. Вознесенской, С.Н. Зенкина, Н.А. Шматко. М.; СПб.: Алетей, 2001.

- ³⁵ См. *Вахштайн В.С.* Курьезы и парадоксы феноменологической интервенции // Социология власти. 2014. № 1. С. 5—9.
- ³⁶ *Сервантес М.* Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. М.: Эксмо, 2005. С. 74.
- ³⁷ *Шюц А.* О множественности реальностей. С. 22.
- ³⁸ Там же.
- ³⁹ *И. Гофман (1922—1982)* — американский социолог, классик социологии повседневности, создатель концепций социальной драматургии и фрейм-анализа.
- ⁴⁰ *Гофман И.* Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Пер. с англ. Р.Е. Бумагина, Ю.А. Данилова, А.Д. Ковалева, О.А. Оберемко / Под. ред. Г.С. Батыгина, Л.А. Козловой. М.: Институт социологии РАН. ФОМ, 2003. С. 103.
- ⁴¹ Там же. С. 143.
- ⁴² Там же. С. 175. Что интересно, понимание Гофманом социальной природы сновидения опирается не на шюцевскую трактовку, а на исследование Н. Малкольма. См.: *Malcolm N. Dreaming*. London: Routledge & Kegan Paul; New York: Humanities Press, 1959.
- ⁴³ Радикально иную социологическую трактовку «онтологического статуса» сновидения — так же с опорой на работу Малкольма — см.: *Ионин Л.Г.* Парадоксальный сон. М.: Университетская книга, 2005. С. 26.
- ⁴⁴ *Гофман И.* Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. С. 677.
- ⁴⁵ *Goffman E.* A Reply to Denzin and Keller // *Erving Goffman: Vol. 4* / Ed. By G.A. Fine, G. Smith. London: Sage Publications, 2000. P. 83.
- ⁴⁶ Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе. (The Organization for Security and Co-operation in Europe, Office for Democratic Institutions and Human Rights: <http://www.osce.org/odihr/>).
- ⁴⁷ European Network of Election Monitoring Organizations: www.enemo.eu.
- ⁴⁸ «Игры с алкоголем» — формы взаимодействия в подростковых субкультурах, характеризующиеся сочетанием игрового, состязательного и ритуального употребления спиртных напитков.
- ⁴⁹ *Вахштайн В.С.* Социология повседневности и теория фреймов. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011.
- ⁵⁰ Предупреждение Миранды — формулировка, известная нам по голливудским фильмам: «Вы имеете право хранить молчание... Все, что Вы скажете, может быть использовано против Вас в суде...». Предупреждение Миранды было введено в

- качестве общего правила после решения судьи Верховного суда США Эрла Уоррена по делу Эрнесто Артуро Миранды, обвиненного в похищении и изнасиловании. Судья счел показания обвиняемого, полученные в ходе двухчасового допроса, «данными под давлением», поскольку обвиняемый не был поставлен в известность о своих гражданских правах.
- ⁵¹ United States v. Drayton, 122 S. Ct. 2105 (2002).
 - ⁵² Bustamonte v. Schneckloth, 448 F.2d 699 (9th Cir. 1971), rev'd. by Schneckloth v. Bustamonte, 412 U.S. 218 (1973).
 - ⁵³ Tiersma P., Solan L. Cops and Robbers: Selective Literalism in American Criminal Law // Law & Society Review. 2004. Vol. 38. No. 2. P. 232.
 - ⁵⁴ Там же.
 - ⁵⁵ Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. М., 1986. С. 22—131.
 - ⁵⁶ Culombe v. Connecticut, 367 U.S. 568 (1961).
 - ⁵⁷ United States v. Pulido-Baquerizo, 800 F.2d 899 (9th Cir. 1986).
 - ⁵⁸ Соссюр Ф. Курс общей лингвистики / Пер. с французского А. М. Сухотина. М.: Едиториал УРСС, 2004.
 - ⁵⁹ Витгенштейн Л. Философские исследования / Пер. с нем. М.С. Козловой, Ю.А. Асеева // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М.: Гнозис, 1994.
 - ⁶⁰ Как того и требует теория речевых актов.
 - ⁶¹ Лефевр Э. Воспоминания биржевого спекулянта / Пер. с англ. Б. Пинскера. М.: Олимп-Бизнес, 2014. С. 38.
 - ⁶² Taleb N.N. The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. NY, 2007.
 - ⁶³ Заметим, что реальность описаний не связана непосредственно с реальностью описываемых событий: описать можно и то, что в терминологии Гуссерля лишено «предикаций существования» (но не лишено «предикаций реальности» — реальность сообщается событию его описанием). Таким образом, проблема «неописуемости» заметно сложнее вопроса о существовании или не-существовании. Это проблема границ воображения, пределов оптических возможностей языка.
 - ⁶⁴ См. Ло Дж. Объекты и пространства / Пер. с англ. В. Вахштайна // Социологическое обозрение. 2006. Т. 5. №1. С. 30—42. Там. Р. Топологическое описание морфогенетических событий // Структурная устойчивость и морфогенез М.: Логос, 2002. С. 234—236.
 - ⁶⁵ См. подробнее об идее «защитных механизмов» повседневного мира: Ионин Л.Г. Социология культуры. С. 111.
 - ⁶⁶ Филиппов А.Ф. Пространство политических событий //Полис: Политические исследования. 2005. №2. С. 12.
 - ⁶⁷ Валденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности // Социо-логос. Общество и сферы смысла / Под ред. В.В. Винокурова, А.Ф. Филиппова. М.: Прогресс, 1991. С. 42.

- ⁶⁸ Шкловский В.Б. Искусство как прием // Шкловский В.Б. Гамбургский счёт: Статьи — воспоминания — эссе (1914—1933). М.: Советский писатель, 1990. С. 58—72.
- ⁶⁹ Там же. С. 63.
- ⁷⁰ Там же.
- ⁷¹ Уинч П. Идея социальной науки и ее отношение к философии. М.: Русское феноменологическое общество, 1996. С.138.
- ⁷² Андерсон Д.К., Шеррок У.У. Ирония как методологическая теория: эскиз четырех социологических вариаций / Пер. с англ. А. Корбута // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. №1. С. 53—65.
- ⁷³ Стругацкий А., Стругацкий Б. Второе нашествие марсиан // Понедельник начинается в субботу. М.: ЭКСМО, 2008. С. 134.
- ⁷⁴ См. «Солдаты извинились за то, что застрелили меня. Было темно, дело происходило вблизи от границы, и алюминиевая трубка в моей руке была похожа на оружейный ствол...» (Э. Керет, «Юлия», перевод с иврита Ш. Резника).
- ⁷⁵ Шюц А. Обыденная и научная интерпретация человеческого действия / Пер. с нем. и англ. В.Г. Николаева, С.В. Ромашко, Н.М. Смирнова // Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 11.
- ⁷⁶ Там же.
- ⁷⁷ Там же.
- ⁷⁸ Иную интерпретацию механизма типизации в феноменологической социологии предлагает Л.Г. Ионин. См.: Ионин Л.Г. Социология культуры. С. 118.
- ⁷⁹ Филиппов А.Ф. Политическая эзотерика и политическая техника в концепции Карла Шмитта // Полис. Политические исследования. 2006. № 3. С. 23.
- ⁸⁰ Такова точка зрения Карин Фрай. См.: Fry K. Oh My God! They Killed Kenny ...Again: Kenny and Existentialism // South Park and Philosophy: you know, I learned something today. L.: Blackwell Publishing, 2007. P. 77-87.
- ⁸¹ Джек Кеворкян (1928-2011) — популяризатор эвтаназии, сконструировал машину («мерситрон»), помогающую неизлечимо больным добровольно уйти из жизни, был признан виновным в «убийстве второй степени».
- ⁸² См. в развитие этого тезиса дискуссию о трансцендентном и повседневном: Волков В.В. Слова и поступки // Социологическое обозрение. 2009. Т8. №1. С. 56—60. И ответ на нее в том же журнале: Вахштайн В.С. Между «практикой» и «поступком»: невыносимая легкость теорий повседневности // Социологическое обозрение. 2009. Т8. №1. С. 61—69.
- ⁸³ Bateson G. Message “This is play” In Schaffner B. (Ed.) // Group Processes: Transaction of the Second Conference. New York: Josiah Macy, Jr. Foundation. 1956. P. 145—242.
- ⁸⁴ Гофман И. Порядок взаимодействия / Пер. с англ. А. Корбута // Социология власти. 2014. №1. С. 167.

- ⁸⁵ Подробно о теории социальных событий см.: *Филиппов А.Ф.* К теории социальных событий // *Логос* 2005. №5 (50). С. 63—88; *Davidson D.* Essays on Actions and Events. Oxford: Clarendon Press, 2001.
- ⁸⁶ См. у Ирвинга Гофмана: «Я исхожу из того, что оказываясь в какой бы то ни было ситуации, люди всегда задаются вопросом: “Что здесь происходит?”. Не имеет значения, ставится ли этот вопрос явно (в случаях замешательства или сомнения) или возникает по умолчанию (в привычных ситуациях), ответ зависит от способа поведения в данной ситуации». *Гофман И.* Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта, 2003.
- ⁸⁷ *Филиппов А.Ф.* К теории социальных событий // *Логос* 2005. №5 (50). С. 15.
- ⁸⁸ См. «Этюд о некросоциологии» в: *Ионин Л.Г.* Парадоксальный сон: Статьи и эссе. М.: Университетская книга, 2005.
- ⁸⁹ *Зиммель Г.* Смерть и бессмертие. Глава III / Пер. с нем. М.И. Левиной / Созерцание жизни. Четыре метафизические главы // *Зиммель Г.* Избранное. Т. 2. Созерцание жизни / Пер. с нем. М.И. Левиной, Л.Г. Иониной, А.М. Руткевича, Э.М. Телятникова, А.Ф. Филиппова. М.: Юрист, 1996. С. 77.
- ⁹⁰ *Витгенштейн Л.* Культура и ценность. О достоверности / Пер. с нем. Л. Добросельского. М.: АСТ, Астрель, Мидгард, 2010. С. 31.
- ⁹¹ *Зиммель Г.* Смерть и бессмертие. С. 79.
- ⁹² Там же. С. 95.
- ⁹³ Там же. С. 98.
- ⁹⁴ *Лабюк О.* «Ответственность по защите» и право на вмешательство // *Международные процессы.* 2008. Т. 6. №3. С. 59—66.
- ⁹⁵ To protect sovereignty or to protect lives? // *The Economist*, 17—23. 05. 2008.
- ⁹⁶ *Albright M.* The end of Intervention // *The New York Times*, 11. 06. 2008.
- ⁹⁷ *Лабюк О.* Указ. соч.
- ⁹⁸ *Шюц А.* О Множественности реальностей. С. 15.
- ⁹⁹ *Гофман И.* Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. С. 86.
- ¹⁰⁰ *Kohn E.* How forests think: Toward an anthropology beyond the human. Berkeley: University of California Press, 2013.
- ¹⁰¹ *Гофман И.* Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. С. 82.
- ¹⁰² *Law J.* After Method: Mess in Social Science Research. London: Routledge, 2004.
- ¹⁰³ *Зиммель Г.* Руина / Пер. с нем. М.И. Левиной // *Избранное.* Т. 2. М.: Юрист, 1996. С. 227—234.
- ¹⁰⁴ «Шоу Трумана» (1998) — фильм о человеке, выросшем в телевизионном павильоне и не подозревающим об этом. Все население его «городка» (включая девушку и ближайших

- друзей) — актеры, его повседневная рутина — часть сценария, все его действия транслируются на весь мир в прямом эфире. Обнаружение этого факта подвергает героя в состояние тотального подозрения, о котором речь пойдет далее.
- ¹⁰⁵ *Луман Н.* «Что происходит?» и «Что за этим кроется?». Две социологии и теория общества / Пер. с нем. А. Филиппова // Теоретическая социология: Антология: В 2 ч. / Пер. с англ., фр., нем., ит.; сост. и общ. ред. С. П. Баньковской. М.: Книжный дом «Университет», 2002. Ч. 2. С. 320.
 - ¹⁰⁶ *Маркс К., Энгельс Ф.* Собрание сочинений. Изд. 2. Т. 5. М.: Государственное издательство политической литературы, 1956. С. 452.
 - ¹⁰⁷ *Утехин И.В.* Очерки коммунального быта. М.: ОГИ, 2004. С. 57.
 - ¹⁰⁸ Там же. С. 93.
 - ¹⁰⁹ *Скорин-Чайков Н.В.* Медвежья шкура и макароны: о социальной жизни вещей в сибирском совхозе и перформативности различий дара и товара // Экономическая социология. 2012. Т. 13. №2. С. 59—81.
 - ¹¹⁰ *Сафонова М.А.* Драма полевого исследователя: подозрение в качестве метода // Журнал социологии и социальной антропологии. 2006. Т. 9. №1. С. 189.
 - ¹¹¹ *Гай К.М.* Социология познания и искусство подозрения (Социологическое толкование толкования) / Пер. Е. Канищевой // Библия в современном мире: аспекты толкования. М.: Триада, 2002. С. 112.
 - ¹¹² *Lambo T.A.* The Role of Cultural Factors in Paranoid Psychoses among the Yoruba Tribe // Journal of Mental Science. 1955. № 2. P. 239—266. См. также: «Заболев паранойей, индейцы менимони боятся колдунов или змей, тогда как параноики нашего общества боятся радиостанций и агентов ФБР. Но приписывание недоброжелательных мотивов воображаемым персонажам и принятие против них защитных мер являются общим шаблоном». *Шибутани Т.* Социальная психология / Пер. с англ. В.Б. Олышанского. Ростов н/Д: Феникс, 1999. С. 221.
 - ¹¹³ *Кундера М.* Невыносимая легкость бытия. СПб.: 2003. С. 135.
 - ¹¹⁴ *Lefebvre H.* La production de l'espace. 2nd edn., Paris: Anthropos, 1981.
 - ¹¹⁵ *Winner L.* Do Artifacts Have Politics // Daedalus. Vol. 109. № 1 (Winter 1980). P. 121—136.
 - ¹¹⁶ *Колхас Р.* Нью-Йорк вне себя: Ретроактивный манифест Нью-Йорка / Пер. с англ. А. Смирновой. М.: Strelka Press, 2013.
 - ¹¹⁷ *Джеймс У.* Указ. соч. Сс. 215—216.
 - ¹¹⁸ http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/38/pdfs/ukpga_20060038_en.pdf
 - ¹¹⁹ <http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=c7b9dfa1176c8b46b470823f9207f044&ty=HTML&h=L&n=15y1.2.2.8.9&r=PART>
 - ¹²⁰ *Митчелл Д.* Облачный атлас. М.: Эксмо, 2013.

